



Д Ж Е К

Л О Н Д О Н

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Джек Лондон

Любовь к жизни (сборник)

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Сое)-44

Лондон Д.

Любовь к жизни (сборник) / Д. Лондон — «ФТМ»,
«Издательство АСТ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-111040-6

В этот сборник вошли «северные рассказы» Джека Лондона, составившие авторские сборники «Сын Волка», «Бог его отцов» и «Любовь к жизни». Рассказы, которые в одночасье превратили молодого, никому не известного репортера с Аляски едва ли не в самого популярного англоязычного писателя начала прошлого века. Рассказы, которые навеки заразили любовью к приключениям и суровой романтике Севера миллионы мальчишек по всему свету, мечтавших, подобно персонажам произведений Лондона, оказаться в краю Белого безмолвия. В краю, где женщины прекрасны, а мужчины отважны, где золото течет рекой, а жизнь зачастую стоит не дороже пули, выпущенной из кольта за миг до верной гибели. В краю северного сияния, таинственных индейских и эскимосских сказаний, опасности, мужества и чести. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-111040-6

© Лондон Д.

© ФТМ

© Издательство АСТ

Содержание

Сын волка	6
Белое безмолвие	6
Сын Волка	12
На Сороковой миле	21
В далеком краю	27
За тех, кто в пути!	37
По праву священника	43
Мудрость снежной тропы	52
Жена короля	57
I	57
II	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Джек Лондон
Любовь к жизни

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Сын волка

Белое безмолвие

– Дольше пары дней Кармен не протянет. – Мейсон выплюнул кусок льда, с сожалением взглянул на несчастное животное, снова засунул собачью лапу в рот и продолжил обгрызать намерзший между когтями лед. – В жизни не встречал надежной ездовой собаки с заушной кличкой. – Он завершил операцию и оттолкнул жалобно скулившую Кармен. – Ни одна не выдерживает здешней жизни: все быстро сдают, слабеют и дохнут. Видел когда-нибудь, чтобы подвел пес с надежным именем типа Касьяр, Сиваш или Хаски? Нет? И не увидишь! Вот взгляни хотя бы на Шукума. Он же...

Мейсон не договорил. Поджарый свирепый зверь вскочил и щелкнул зубами возле шеи хозяина.

– Ну что еще надумал?

От крепкого удара рукояткой хлыста по уху пес задрожал и растянулся на снегу, с клыков закапала желтая слюна.

– Видишь? Я же говорил, что Шукум не слабак. Готов поспорить, не пройдет и недели, как он сожрет Кармен.

– Вероятно. Боюсь только, что твоему любимцу тоже несдобровать, – возразил Мэйлмют Кид, переворачивая над огнем замерзший хлеб. – Мы сами съедим Шукума еще до конца пути. Что скажешь, Рут?

Индианка опустила льдинку в кофе, чтобы осадить гущу, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, потом на собак, но не сочла нужным ответить. К чему пустые слова, когда и так все ясно? Впереди две сотни миль мучительного пути, а запасов едва хватит на шесть дней, да и то лишь на людей. Собак кормить нечем. Выхода нет.

Двое мужчин и женщина сели поближе к костру и принялись за скудную трапезу. Собаки лежали в упряжке, поскольку это был короткий дневной отдых, и провожали каждый кусок голодными взглядами.

– Сегодня последний ленч, – вздохнул Мэйлмют Кид. – А за собаками придется постоянно следить: того и гляди набросятся и загрызут.

– Подумать только: когда-то я возглавлял методистскую общину в Эпсуорте, да еще и в воскресной школе преподавал. – Вспомнив невероятные подробности собственной биографии, Мейсон вдруг помрачнел и погрузился в созерцание пара, поднимавшегося от оттаявших у костра мокасин. Так он неподвижно просидел до тех пор, пока Рут не вывела его из задумчивости, налив кофе.

– Слава богу, хотя бы чая у нас много! Я-то видел в Теннесси, как он растет. Эх, чего только не отдал бы за горячий початок вареной кукурузы! Не горюй, Рут, недолго еще тебе осталось голодать и шлепать по снегу бог знает в чем.

Глаза индианки наполнились великой любовью к доброму повелителю – первому белому человеку, которого довелось встретить; первому мужчине, обращавшемуся с женщиной лучше, чем со скотиной или выючным животным.

– Да, Рут, – продолжил муж на том живописном, полном иносказаний языке, который позволял им понимать друг друга. – Потерпи немного. Скоро выберемся отсюда, сядем в каноэ белого человека и поплывем по большой соленой воде. Да, плохая, сердитая вода. Постоянно качаются и пляшут белые горы. Так далеко, так долго! Плынешь десять снов, двадцать снов, сорок снов, – принялся он загибать пальцы, словно хотел показать дни, – а вода, злая вода никак не кончается. Но потом все-таки приплывем в большую-большую деревню. Там людей

видимо-невидимо... почти как комаров летом. И вигвамы огромные – высотой в десять, а то и в двадцать сосен! Ну как же тебе объяснить?

Мейсон растерянно замолчал, умоляюще взглянул на товарища и прилежно изобразил, как ставит одну на другую двадцать сосен.

Мэйлмут Кид цинично, но жизнерадостно улыбнулся, зато глаза Рут засветились доверчивым восхищением: почти не понимая слов, она чувствовала, что муж шутит, и снисхождение наполняло бедное сердце радостью.

– А затем войдем в... в большой ящик и – ррраз! – взлетим высоко-высоко. – Для наглядности Мейсон подкинул опустевшую кружку, ловко поймал и закричал: – Два! И снова спустимся на землю. О, великие шаманы! Ты поедешь в форт Юкон, а я – в Арктик-сити. Там есть такая струна длиной в двадцать пять снов. И вот я схвачусь за один конец и скажу: «Привет, Рут! Как дела?» А ты спросишь: «Это мой добрый муж?» – «Да», – отвечу я. «Не могу испечь хороший хлеб, сода закончилась», – пожалуешься ты. Тогда я скажу: «Поищи в кладовке, под мукой. До свидания». Ты найдешь много соды и испечешь вкусный хлеб. И так все время: ты в форт Юкон, я в Арктик-сити. Ай да великие шаманы!

Рут так наивно, простодушно улыбнулась, что спутники расхохотались. Рассказ о чудесах Большой земли оборвала собачья драка, а к тому времени, как мужчины разняли рычащих псов, индианка уже сложила вещи в сани и собралась в путь.

– Ну же, пошли! Смелее, вперед! Не ленитесь, тяните! – Мейсон умело пустил в ход хлыст, и собаки натужно захрипели, пытаясь сдвинуть груз с места.

Стремясь облегчить их участь, он подтолкнул сани и зашагал рядом. Рут шла следом, возле второй упряжки. Мэйлмут Кид помог ей тронуться с места и только после этого сам отправился в путь. Могучий силач, способный одним ударом свалить быка, он не мог бить несчастных животных: жалел их, как жалеет мало кто из погонщиков, и едва не плакал от сострадания к нелегкой собачьей доле.

– Поднатужьтесь, милые! Потерпите, бедные! – взмолился он после нескольких напрасных попыток. Но вот наконец очередное усилие увенчалось успехом: завывая от боли, измученная свора похромала вслед за двумя другими.

Разговоры прекратились. Тяжкий труд дальней дороги не допускает роскоши простой дружеской беседы.

Нет на свете участи суровее испытания северным простором. Счастлив тот, кому повезет заплатить за дневной переход по разбитой колее лишь угрюмым молчанием. И нет на свете путешествия мучительнее бесконечного преодоления снежной дороги. При каждом шаге широкие снегоступы погружаются все глубже, пока ноги не проваливаются по колено. Тогда приходится медленно, осторожно – ошибка даже на долю дюйма грозит катастрофой – вытаскивать неуклюжие громоздкие лопасти на поверхность и счищать лишний груз. Потом снова вперед и вниз, чтобы поднять на пол-ярда другую ногу. Тот, кто впервые сражается со снегом, получит право назвать себя победителем, если не растянется во весь рост на предательской дороге, а сумеет устоять, хотя уже через сотню ярдов выбьется из сил. А если к тому же сможет удержаться на безопасном расстоянии от собачьей упряжки, не попав под лапы животных и полозья саней, то вечером забьется в спальный мешок с чистой совестью и с гордостью, не доступной пониманию обитателей Большой земли. Герой, сумевший не сломаться и с честью выдержать путь длиной в двадцать снов, станет человеком, достойным зависти богов.

День тянулся медленно. Объятые благоговейным трепетом перед белым безмолвием, путники молча, упрямо продвигались вперед. Природа обладает множеством доходчивых способов убедить человека в его неизбежном ничтожестве. Для этого есть бесконечный, равнодушный ритм прилива и отлива, безумная ярость бури, жестокие удары землетрясения, пугающая канонада небесной артиллерии. И все же не существует на земле ничего более ошеломительного и оглушительного, чем непреодолимая неподвижность белого безмолвия. Все

шорохи замирают, небеса проясняются и застывают в безмятежно сияющем покое вечности. Малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается даже слабого звука собственного голоса. Одинокая крупинка жизни на призрачных просторах пустынного мертвого мира, он трепещет от собственной дерзости, ощущая себя жалкой мошкой перед лицом Вселенной. Непрошенные причудливые мысли мелькают в голове, великая тайна мироздания ищет и не находит выражения.

Страх смерти, ужас перед Создателем, благоговение перед непостижимой вечностью мира охватывают усталого путника, сменяясь надеждой на воскресение и жизнь, жадной бес-смертия, тщетным стремлением заточенной в темнице сущности к свободе и свету. Только здесь и сейчас человек остается наедине с Господом.

Миновал еще один день. Река удлинила маршрут прихотливым широким изгибом. Чтобы сократить путь, Мейсон направил свою упряжку прямо к перешейку. Однако собакам не хватило сил забраться на крутой берег. Хотя Рут и Мэйлмют Кид дружно толкали сани, полозья проскальзывали и срывались. Настало время сделать последний, решающий рывок. Истощенные, ослабевшие от голода собаки собрали остатки сил и обреченно полезли вверх по склону. Медленно-медленно сани вползли на берег, однако вожак дернул свору вправо и задел снегоступы хозяина. Результат оказался трагическим.

Мейсон не удержался на ногах; одна из собак упала и запутала остальных; сани опрокинулись и рухнули обратно – туда, откуда только что с огромным трудом поднялись. Резко, яростно свистнул по собачьим спинам хлыст. Особенно досталось той, которая упала первой.

– Не надо, Мейсон, не бей, – умоляюще проговорил Мэйлмют Кид. – Бедняга и так едва стоит. Подожди, давай лучше подпряжем мою свору.

Мейсон нарочно задержал хлыст, чтобы дожидаться конца просьбы, и с отчаянной яростью хлестнул по спине провинившуюся собаку.

Кармен – а это была именно Кармен – задергалась на снегу, жалобно завизжала и перекадилась на бок.

Настала минута горестного испытания: погибающая собака, два разгневанных товарища.

Рут в тревоге наблюдала за мужчинами. Мэйлмют Кид сумел сдержаться, хотя в глазах застыло горькое осуждение. Молча склонился он над обреченной Кармен и обрезал постромки. Без единого слова путники объединили две своры в одну и общими усилиями преодолели препятствие. Сани двинулись дальше, умирающая собака кое-как заковыляла следом. До тех пор, пока животное способно двигаться, его не пристреливают: дают последний шанс на тот случай, если удастся убить лося и накормить всех – и людей, и свору.

Уже раскаиваясь в безумной жестокости, но из упрямства отказываясь признать собственную слабость и извиниться, Мейсон тяжело брел во главе небольшого каравана и не подозревал, что идет навстречу смерти. Путь пролегал по заросшей хвойным лесом низине. Примерно в полусотне футов от колеи возвышалась величественная сосна. Веками стояло дерево на этом месте, и судьба готовила ему конец – один на двоих с человеком.

Мейсон остановился и склонился, чтобы подтянуть ремни снегоступов. Собаки улеглись на снег, и сани замерли. Странная тишина объяла мир, замороженный лес уснул в неподвижности. Холод и молчание сковали живое сердце и дрожащие губы природы. Но вдруг в воздухе пролетел тихий вздох; путники не столько его услышали, сколько ощутили в ледяной пустоте предвестье движения. А через мгновение утомленная грузом столетий и снегов огромная сосна сыграла главную роль в трагедии непобедимой смерти. Мейсон услышал зловеющий треск и попытался выпрямиться, но не успел: удар пришелся на плечо.

Нежданная опасность, стремительная жестокая гибель – как часто сталкивался со страшными случайностями Мэйлмют Кид! Сосновые иголки еще дрожали, когда он отдал короткую команду и начал действовать. Рут не упала в обморок и не закричала подобно белым сестрам. Молча подчиняясь приказу и прислушиваясь к стонам мужа, она что было сил налегла на конец

примитивного рычага, стараясь весом худенького тела облегчить тяжесть рухнувшего дерева. Тем временем Мэйлмют Кид набросился на сосну с топором в руках. Сталь звенела, вгрызаясь в замороженное дерево, а каждый мощный удар сопровождался громким, натужным дыханием дровосека.

Наконец он освободил и положил на снег то, что осталось от сильного, здорового, молодого человека. Однако еще более угнетающе подействовала застывшая на лице индианки немая скорбь – странное сочетание надежды и безысходности. Говорили мало, люди Севера быстро понимают бесполезность слов и неопределимую важность поступков. При температуре в шестьдесят пять градусов мороза человек не способен долго лежать в снегу и при этом оставаться живым. Поэтому Мэйлмют Кид поспешно соорудил из елового лапника подобие топчана и уложил закутанного в шкуры и одеяла товарища, а рядом развел костер, топливом для которого послужило ставшее причиной трагедии дерево. Сзади и сверху натянул примитивное подобие тента: кусок парусины надежно задерживал и отражал тепло. Этот прием отлично знаком всем, кто изучал физику не за школьной партой, а на практике.

Точно так же все, кто когда-либо встречался со смертью, слышат и понимают ее зов. Даже беглый, поверхностный осмотр не оставил сомнений: Мейсон искалечен непоправимо и безнадежно. Правая рука, правая нога и позвоночник сломаны; нижняя половина тела парализована; велика вероятность серьезных внутренних повреждений. Лишь редкие, едва слышные стоны доказывали, что несчастный еще жив.

Никакой надежды на спасение, ни малейшей возможности помочь. Безжалостная ночь медленно ползла, обрекая Рут на свойственное ее народу безысходное стоическое терпение и высекая на бронзовом лице Мэйлмюта Кида новые глубокие морщины.

Пожалуй, меньше всех страдал сам Мейсон. Он наконец-то вернулся в туманные горы на востоке штата Теннесси – туда, где прошло детство – и сейчас вновь переживал счастливые дни. Жалко и трогательно звучал давно забытый тягучий южный говор, когда в бреду он рассказывал о темных, богатых рыбой омутах, об охоте на енотов, о набегах за арбузами на чужие огороды. Рут слушала, почти ничего не понимая, однако Мэйлмют Кид все понимал и чувствовал, как способен чувствовать только тот, кто долгие годы провел вдали от населенного людьми мира.

Утром к Мейсону вернулось сознание, и Мэйлмют Кид склонился над товарищем, чтобы расслышать его шепот.

– Помнишь, как четыре года назад мы встретили Рут на реке Танана? Тогда я не сразу сумел оценить ее. Просто симпатичная девчонка, вот и понравилась. Но потом понял, что это не все. Она стала мне хорошей женой, всегда рядом в трудную минуту. Когда доходит до серьезного дела, ей нет равных. Помнишь, как стреляла на порогах в Мусхорне, чтобы снять нас с тобой со скалы? Пули молотили по воде как град. А голод в Никлукуето? Тогда Рут примчалась по замерзшей реке, чтобы предупредить об опасности.

Да, хорошая жена. Лучше той, прежней. Не знал, что я уже был женат – там, дома? Никогда не рассказывал? Попробовал однажды, еще в Штатах. Потому и оказался здесь. Мы с ней вместе выросли. Уехал, чтобы она смогла подать на развод. Подала и получила то, что хотела.

А Рут совсем другая. Собирался закончить все дела и вернуться вместе с ней на Большую землю. Но теперь уже поздно. Не отправляй ее обратно в племя, Кид. Будет очень тяжело. Подумай сам! Почти четыре года питаться нашей пищей – бекон, фасоль, мука и сухофрукты – и вдруг вернуться к рыбе и оленьему мясу. После того как Рут узнала, что мы живем лучше, чем ее народ, не нужно ей возвращаться обратно. Позаботься о моей жене, Кид, прошу. Впрочем, ты всегда обходил женщин стороной и не рассказывал, почему сюда приехал. Пожалей ее и как можно скорее отправь в Штаты. Но устрой так, что если вдруг соскучится и захочет домой, то сразу сможет вернуться.

А ребенок... он еще больше нас сблизил, Кид. Надеюсь, что родится мальчик. Только подумай – моя плоть и кровь! Он не должен остаться здесь, на Севере. А если вдруг девочка... нет, не может быть. Продай мои меха: выручишь не менее пяти тысяч, – да еще столько же принесет компания. Объедини мои акции со своими, так будет надежнее. А ей выдели неотчуждаемую долю. Проследи, чтобы сын получил хорошее образование. А главное, не отпускай его сюда. Белому человеку тут не место.

Моя жизнь кончена. Осталось три-четыре ночи, не более. А вам надо идти дальше. Непременно! Помни: это моя жена и мой сын. О боже, только бы родился сын! Вам нельзя оставаться со мной. Умираю и приказываю продолжить путь.

– Дай нам еще три дня, – произнес Мэйлмют Кид. – Вдруг станет лучше? Может, что-нибудь изменится?

– Нет.

– Всего три дня.

– Вы должны идти.

– Два дня.

– Моя жена и мой ребенок, Кид. Не проси.

– Один день.

– Нет-нет! Приказываю...

– Последний, единственный день. Продержимся на запасах. Вдруг убью лося?

– Нет... впрочем... хорошо. Всего день, ни минутой дольше. Только не оставляй меня лицом к лицу со смертью, умоляю. Достаточно одного выстрела, пальцем на курок... и конец. Сам знаешь. Подумай, подумай! Моя плоть и кровь, а я так его и не увижу!

Позови сюда Рут. Хочу с ней попрощаться. Сказать, чтобы думала о ребенке и не дожидалась моего ухода. Иначе может отказаться продолжить путь. Прощай, старина, прощай.

Послушай! Там, на склоне, над рекой, есть отличное местечко. Намоешь изрядно, уж я-то точно знаю. И еще...

Мэйлмют Кид склонился ниже, чтобы не упустить последние ускользающие слова: победу умирающего товарища над собственной гордостью.

– Прости за... ты понимаешь... за Кармен.

Оставив Рут тихо плакать возле мужа, Мэйлмют Кид надел парку, прикрепил снегоступы, сунул под мышку ружье и зашагал в лес. Он вовсе не был новичком в бесконечных испытаниях северного края, но ни разу не оказывался в столь жестоких тисках судьбы. В теории уравнение было очевидным: три жизни против одной, обреченной на скорый конец, – и все же сомнения не отпускали. Пять лет скитаний плечом к плечу по замерзшим рекам и глубоким колеям, мертвого сна на коротких стоянках, изнуряющего труда на золотых приисках, лицом к лицу со смертью от холода и голода – пять лет постоянного преодоления связали их с Мейсоном надежными узлами братства. Спаяли настолько крепко, что порой возникала смутная ревность к Рут за то, что стала третьей. И вот теперь придется собственной рукой оборвать не только связь, но и жизнь друга.

Мэйлмют Кид молил Бога послать лося – всего лишь одного лося! Но, похоже, звери покинули проклятую землю. К ночи изможденный человек вернулся к костру с пустыми руками и тяжелым сердцем. Лай собак и громкие крики Рут заставили ускорить шаг.

Страшная картина предстала перед глазами: вооружившись топором, индианка в одиночку сражалась со сворой взбесившихся псов. Обезумев от голода и усталости, те нарушили железное правило неприкосновенности хозяйского добра и набросились на съестные припасы. Перевернув ружье вперед прикладом, Мэйлмют Кид вступил в битву. Естественный отбор проявился с неприкрытой северной жестокостью. С угрюмой монотонностью ружье и топор вздымались и резко падали. Гибкие собачьи тела извивались, глаза бешено горели, с клыков падала

слюна. Люди и звери насмерть сражались за превосходство. Наконец избитые собаки подползли к костру, чтобылизать раны и выплакать звездам свою горькую участь.

Запас сушеного лосося пропал. На двести миль пути по холодной пустыне осталось всего пять фунтов муки. Рут вернулась к мужу, а Мэйлмют Кид освеживал собаку, чья голова попала под удар топора, аккуратно разрезал тушу на куски и спрятал; лишь шкуру и потроха бросил недавним сообщникам.

Утро принесло новую беду. Животные накинудись друг на друга. Кармен, еще цеплявшаяся за остатки жизни, первой пала жертвой жестокой схватки. Хлыст слепо, без разбору гулял по спинам и головам; собаки корчились и визжали от боли, однако не разбежались до тех пор, пока не осталось ничего: ни костей, ни шкуры, ни шерсти.

Занимаясь печальным делом, Мэйлмют Кид прислушивался к бреду Мейсона. Несчастный снова вернулся в Теннесси и теперь жарко доказывал что-то друзьям юности.

Работал Кид умело и проворно. Рут наблюдала, как он мастерит тайник, похожий на те, которыми иногда пользуются охотники, чтобы спасти добычу от росомах и собак. Почти до земли пригнув верхушки двух небольших сосен, он связал их прочными ремнями из лосиной шкуры. Ударами хлыста заставив собак подчиниться, запряг три своры в двое саней. Туда же загрузил все, кроме согревавших Мейсона шкур и одеял. Потуже закутал товарища, перевязал веревками, а концы надежно прикрепил к верхушкам сосен. Одно движение острого ножа, и деревья распрямятся, подняв тело высоко в воздух.

Рут уже выслушала напутствия мужа, и теперь смиренно ждала конца. Бедняжка успела хорошо выучить урок покорности. Как и все женщины северного народа, с самого детства она склоняла голову перед властителями мира, не в силах представить, что можно перечить мужчинам. Мэйлмют Кид позволил на прощание поцеловать Мейсона и выплеснуть горе – даже такая малость противоречила обычаям родного племени, – а потом подвел к первым саням и помог закрепить снегоступы. Почти не видя ничего вокруг, слепо повинаясь привычке, Рут взяла шест и хлыст, чтобы направить собачью упряжку по льду замерзшей реки. Сам же Мэйлмют Кид вернулся к впавшему в забытие Мейсону и присел возле костра, молясь, чтобы товарищ умер своей смертью и освободил от страшной миссии.

Невесело коротать время в пустоте белого безмолвия, наедине с печальными мыслями. Молчание темноты милосердно: тишина окутывает плотным покровом и нашептывает слова утешения. Однако эфемерное белое безмолвие, прозрачное и холодное под ледяными стальными небесами, не ведает сострадания.

Миновал час, другой. Мейсон не умирал. В полдень солнце, едва приподнявшись над южным горизонтом, бросило на небосвод косые отсветы и сразу погасло. Мэйлмют Кид медленно встал и заставил себя подойти к товарищу, чтобы посмотреть, жив тот или умер. Белое безмолвие презрительно усмехнулось, великий страх охватил душу. Лес ответил коротким гулким эхом.

Через минуту Мейсон вознесся в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид пустил собак диким галопом и помчался по снежной пустыне.

Сын Волка

Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина, – во всяком случае, не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме, но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, то с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильнодействующими лекарствами. Но голод не отпускает – напротив, мучит все сильнее; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм, и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его наконец осеняет.

Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимой запрягает своих собак – и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женой, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк еще не испытал золотой лихорадки и нашествия *чечако*¹ и славился только как место, где отлично ловится лосось.

В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами природы, и самыми тяжкими были последние два года, проведенные в поисках золота, таящегося под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.

Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль по льду на собаках, потом плыть за две тысячи миль через океан и, наконец, еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде, – и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.

Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и неприхотливой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случалось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь

¹ Чечако – новички. – Здесь и далее примеч. пер.

разнообразным оружием, но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.

Прежде всего он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Тлинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чая и табака и тем завоевал его благосклонность. Затем свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот же вечер задал им потлач². В снегу была вытоптана овальная площадка около ста футов в длину и двадцать пять в ширину. Посредине развели огромный костер, по обе его стороны настлали еловых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню.

За эти два года Бирюк Маккензи выучился языку индейцев – запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на аляповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг-Тиннех и шаман отвечали ему в том же стиле, потом он оделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре «пятьдесят два».

Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному: тут чувствовались и вызов и похвальба, – и не трудно было понять, в чем дело, – стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей – Сыновой Волка, – но эти немногие преподали им кое-какие уроки.

При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кампании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц: черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, он возьмет ее в жены и назовет... да, он будет звать ее Гертрудой! Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул – истинный сын рода победителей.

Это была нелегкая задача, требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с шестисот ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинг-Тиннеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур; он хвастал без удержу и не скупился на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману, он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж держался до крайности надменно, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников.

Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин всякий раз, как мужчины были далеко и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился: знал, что она поневоле думает о нем, – так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку.

Наконец однажды вечером он решил, что настало время действовать, внезапно поднялся, вышел из душного, прокуренного жилища вождя и направился в соседний вигвам. Заринка по обыкновению сидела, окруженная женщинами и молодыми девушками, все были заняты делом: шили мокасины или украшали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по их с Заринкой адресу, но он без церемоний, одну за другой, вышвыр-

² Потлач – пиршество, на котором хозяин оделяет гостей подарками.

нул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о случившемся.

Он весьма убедительно изложил Заринке все, что хотел сказать, на ее родном языке (его языка она не знала) и часа через два собрался уходить.

– Так значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека? Хорошо! Сейчас я поговорю с твоим отцом: может, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», говоришь ты? Что ж, хорошо! Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека.

Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на устилавшие пол медвежьей шкуры, и лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы, робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи, но следующий жест девушки рассеял его подозрения и он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося с вышитыми на них бисером яркими фантастическими узорами, вытащила большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала его пальцем и вложила в новые ножны. Надев на пояс, она сдвинула их на обычное место – у левого бедра.

Право же, это было совсем как сцена из далекой старины: дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ – для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка. Так встретился каменный век с веком стали.

Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинг-Тиннеха, вокруг чувствовалось необычайное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача, болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались, а из жилища шамана доносились зловещие звуки заклинаний.

Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собой тусклыми, остановившимися глазами, но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место – в знак того, что обручение совершилось, – и немедленно приступил к делу.

– О, Тлинг-Тиннех, могучий повелитель племени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя! Белого человека привела к тебе великая цель. Уж много лун жилище его пусто, и он одинок. Сердце его тоскует в тиши и томится о женщине – пусть сидит рядом с ним в его жилище, пусть встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи, он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон – твой предок, великий Ворон, отец племени стиксов – явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал Ворон одинокому белому человеку: «Надень мокасины, и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тиннеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где охотится великий Тлинг-Тиннех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой – Тлинг-Тиннех – станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту девушку возьмешь ты в жены». Так говорил великий Ворон, о, вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять в жены твою дочь.

Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, сообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез.

– О, белый человек, которого мы называли Грозой Лосей, известный также под именем Волка и Сына Волка! Мы знаем, ты приходишь из великого племени; мы горды тем, что ты был нашим гостем, но кета не пара лосою. Так и Волк не пара Ворону.

– Неверно! – воскликнул Маккензи. – Я встречал дочерей Ворона в лагерях Волка – у Мортимера, у Треджидго, у Барнеби, – в его жилище скво³ вошла два ледохода назад, и я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами.

– Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки: все равно что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мейсон и его скво? Нет? Он первым из Волков пришел сюда десять ледоходов назад. С ним был великан, могучий, как медведь-гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот, его...

– Да это Мэйлмют Кид! – прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на Севере.

– Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мейсона? Она родная сестра Заринки.

– Нет, вождь, я не видел ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на Севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мейсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь, и через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце... Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега, летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак.

Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требуют в совет. Вышвырнув его в снег, Маккензи мельком заметил раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало.

– Слушай! – сказал Маккензи вождю. – Я хочу взять твою дочь в жены. Смотри: вот табак, вот чай, много чашек сахару, вот теплые одеяла и большие, крепкие платки, а вот настоящее ружье, и к нему много патронов и много пороха.

– Нет, – возразил старик, силясь не поддасться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним. – Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтоб я отдал тебе Заринку.

– Но ведь ты вождь.

– Да, но юноши наши разгневаны, потому что Волки отнимают у них невест.

– Слушай, Тлинг-Тиннех! Прежде чем эта ночь перейдет в день, Волк погонит своих собак к Восточным горам и дальше – на далекий Юкон. И Заринка будет прокладывать путь его собакам.

– А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо Волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем.

Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он вынул голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты остававшаяся бесстрашной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов; Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур.

– Снова я зываю к тебе – слушай, о, Тлинг-Тиннех! Волк умирает, сомкнув челюсти, и вместе с ним навсегда уснут десять сильнейших мужчин твоего племени, а в мужчинах будет нужда, время охоты только начинается, и до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа: не много из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь – и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе: сюда придут мои братья – их много, и они ненасытны, – и дочери Ворона станут

³ Скво – женщина (на языках североамериканских индейцев).

рождать детей в жилищах Волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства – твои.

Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе.

– Отдай, о, Тлинг-Тиннех!

– Но мой народ скажет «нет»!

– Отдай, и это богатство – твое. А с твоим народом я поговорю потом.

– Пусть будет, как хочет Волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал.

Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении пяти или шести молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра.

– Собирайся! – вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрягать собак.

Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку; девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утопанной площадки, рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. Притом в час, когда можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла.

Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней, полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня, – вся из странных, неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десятков женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда. Наполовину окутанные распущенными черными как вороново крыло волосами, женщины медленно раскачивались взад и вперед, и тела их изгибались, покорные непрерывно меняющемуся ритму.

Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше к югу был на исходе девятнадцатый век, истекали последние годы его последнего десятилетия, а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок древности. Большие рыжие псы сидели рядом со своими одетыми в звериные шкуры хозяевами или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, не тревожимый происходящим. Белое безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполнить все; звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору Великого Холода, и полярные духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды.

Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, высматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшим обнаженную грудь матери. Было сорок градусов ниже нуля – семьдесят с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И, однако, он, рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия – волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть.

Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковверных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного созидательного начала – Ворону – он противопоставил Волка-Маккензи, заклеив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди – каждый во имя

своего тотема. Племя стиксов – дети Джелкса, Ворона, носителя Прометеева огня; Маккензи – сын Волка, иными словами – дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу – значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи – ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться к ним в доверие, посланника самого Сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал:

– Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами голода и мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка, и Джелкс не поможет им. Ибо они забыли его, они дурно поступают, и идут по дурным тропам, и вводят его врагов в свои вигвамы, и сажают у своего очага. И Ворон скорбит о злонравии своих детей. Но когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О, братья! Носитель огня поведал шаману свою волю – теперь выслушайте ее вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами ринутся на Волка, и пусть их ненависть не ослабевает! Тогда женщины будут рождать детей, и народ Ворона станет многочисленным и могущественным. И Ворон выведет великие племена их отцов и дедов с Севера, и они будут сражаться с Волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, Ворон!

Услышав эту весть о близком пришествии Мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи, высвободив большие пальцы из рукавиц, ждал. Раздались крики: «Лис! Лис!» Они становились все громче; наконец один из молодых охотников выступил вперед и заговорил:

– Братья! Шаман сказал мудрые слова. Волки отнимают наших женщин, и некому рождать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и дают нам взамен злого духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинг-Тиннеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот, смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам Волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы сказать Медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинг-Тиннеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны, всегда берут себе лучшие куски, а Воронам достаются жалкие остатки. Посмотрите, вот Гукла! – И Лис бесцеремонно указал на одну из женщин, хромую. – Ноги ее искривлены точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее Волки?

– О! О! – вскричали собратья Лиса.

– Вот Мойри, – продолжал он. – Злой дух перекошил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее, и, говорят, сам медведь уступает ей дорогу. Выбрали ее Волки?

И снова грозный гул одобрения.

– А вот сидит Писчет. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в белом безмолвии. Разве Волки хотя бы взглянули на нее? Нет! Им достается отборная добыча, нам – остатки. Братья, больше так быть не должно! Довольно Волкам рыскать у наших костров! Время настало!

Гигантское огненное полотнище северного сияния – пурпурное, зеленое, желтое пламя – затрепетало в небе, охватив его от края до края. И Лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул:

– Смотрите! Духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!

Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищами. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена, точно назло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо: когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силы ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил; голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на берегу океана.

– Я Медведь, Серебряное Копье, сын Серебряного Копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал рысь, лося и оленя; когда он зазвучал, как крик росوماхи в ловушке, я пересек Южные горы и убил троих из племени Белой реки; когда он стал, как рев Чинука, я встретил медведя-гризли – и я не уступил ему дороги.

Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице, потом продолжил:

– Я не Лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красно говорить. Слов у меня не много. Лис говорит: «Великие дела совершатся в эту ночь». Хорошо! Речь его бежит с языка точно река в половодье, но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с Волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, Медведь, сказал.

Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьверы, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал, что, если на него нападут все разом, ему не на что надеяться, но, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но Медведь сдержал собратьев, отбросил самых пылких назад ударами страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали – совсем тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но как только Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустило. Напряженные мышцы ослабли, она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.

Тлинг-Тиннех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас шарахнулся назад, и пронзительный вопль застрял у него в глотке – с таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение Лиса было встречено взрывами хохота – теперь его соплеменники готовы были слушать.

– Братья! – начал Маккензи. – Белый человек, которого вы называете Волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово и время мирных речей прошло. Так слушайте: прежде всего ваш шаман – злой болтун и лживый прорицатель, и воля, которую он передал вам, – не воля Носителя огня. Уши его глухи к голосу Ворона, он сам сочиняет коварные небылицы, и он обманул вас. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери; когда ваша земля была окутана тьмою и все живое ггло, точно лосось в осеннюю пору; да, когда голод обрушился на вас, – разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам: шаман бессилен. Вот, я плюю ему в лицо!

Все были поражены этим кощунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались, мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходящего. Жрец понял, что настала решающая минута, почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал: Маккензи занес кулак и шагнул к нему – свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил.

– Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня? Тьфу! Я покончил с этим псом. Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое владычествует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку. Потом охотимся стаями и, наконец, как олени стада, заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная, она будет хорошей матерью Волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью Волков, ибо мои братья многочисленны и придут по следу моих собак. Слушайте, вот Закон Волка: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях, во многих землях ее еще будут платить.

Теперь я буду говорить с Лисом и с Медведем. Видно, им приглянулась эта девушка. Так? Но смотрите – я купил ее! Тлинг-Тиннех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табаку – пять больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтоб он мог всласть шуметь на совете. Медведю же – я горжусь знакомством с ним – я дам два одеяла, двадцать чашек муки, табаку вдвое больше, чем Лису, а если он пойдет со мной к Восточным горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тиннеха. А если он не хочет? Что ж, хорошо! Волк устал говорить. Но он еще раз повторит вам Закон: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью.

Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было беспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи и наскоро рассказала, какие хитрости пускает в ход Медведь, когда дерется на ножах, и Маккензи внимательно слушал.

Итак, решено – они будут биться. Мигом десятки мокасин расширили утоптанную площадку вокруг огня. Немало тут было и разговоров о поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман; некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу, другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с Волком. Медведь выступил вперед, в руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккензи, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять: откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием.

– Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!»

Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом, у него и руки были длиннее, и нож длиннее на добрых два дюйма. Бирюку Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина, однако, весь ожил при виде сверкнувшей стали, и, послушная зову предков, кровь быстрее побежала в его жилах.

Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Маккензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советовали, предостерегали. Но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, и нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед инстинктом самосохранения, который, в свою очередь, уступил место жажде убийства. Десять тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи как шелуха, и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из-за самки.

Дважды он достал Медведя ножом и ускользнул невредимый, но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с Медведем вплотную – каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую

силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения... а лезвие русской стали все ближе, ближе... Он попытался оторваться от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее – никто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть, – но приемом опытного борца Маккензи откатнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на Медведя, отшвырнул его за круг зрителей, в глубокий неутоптаный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи.

– О, муж мой! – зазвенел голос Заринки, предупреждая о близкой опасности.

Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться и стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь Медведю. Тот рухнул, подминая под себя противника, но секунду спустя Маккензи был уже на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу.

Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко им взмахнул, и, сверкнув, как молния, нож пролетел над костром. Лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку, он зашатался и рухнул на пылающие уголья.

«Клик! Клик!» – Это Лис, завладев ружьем Тлинг-Тиннеха, тщетно пытался загнать патрон в ствол, но тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка.

– Так значит, Лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, Лис пока еще женщина? Поди сюда! Дай ружье: я покажу, что надо делать.

Лис колебался.

– Поди сюда, говорят тебе!

И Лис подошел, неловкий, как побитый щенок.

– Вот так и так – и все в порядке.

Патрон скользнул на место, щелкнул курок, Маккензи вскинул ружье к плечу.

– Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не Лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо! Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо!

Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана.

– Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников хочет этого? Если так, Волк отправит их той же дорогой – по двое, по трое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинг-Тиннех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище Волка тебя всегда ждет место у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я ухожу, но, возможно, еще вернусь. И в последний раз говорю: помните Закон Волка!

Он подошел к Заринке, а они смотрели на него как на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи в свою очередь стал на лыжи, готовый двинуться следом.

– Разве Волк забыл про пять больших пачек табаку?

Маккензи гневно обернулся к Лису, но тут же ему стало смешно.

– Я дам тебе одну маленькую пачку.

– Как будет угодно Волку, – скромно сказал Лис и протянул руку.

На Сороковой миле

Когда Большой Джим Белден отважился высказать в общем-то невинную мысль о том, что ледяное сало – вещь довольно странная, то и предположить не мог, к чему это приведет.

Как, впрочем, и Лон Макфейн, который в ответ заявил, что донный лед вещь даже еще более странная. Это не пришло в голову и Беттлзу, который тут же полез в спор и заявил, что подобные разговоры что-то вроде страшилок для детей.

– И это говоришь мне ты! – воскликнул Лон. – После стольких лет, которые ты прожил в здешних местах? После того, как мы с тобой не раз ели из одного котелка!

– Но это же полная бессмыслица, – настаивал Беттлз. – Только подумай, ведь вода теплее льда.

– Невелика разница, когда провалишься под лед.

– И все равно вода теплее, потому что еще не замерзла. А ты говоришь, она замерзает на дне?

– Я говорю о донном льде, Давид, только о донном льде. Разве ты никогда не плыл по реке, когда вода чистая как стекло, и тут... Наверное, солнце зашло за облако, потому что крошечные, как капли, льдинки все вдруг поднялись на поверхность, и теперь от берега до берега и от одной излучины до другой река стала белой, как будто выпал первый снег.

– Было такое. И не один раз. Когда дремал, сидя за рулем. Но лед всегда приносило из боковых притоков, он не всплывал из глубины.

– А когда не клевал носом, не видел?

– Не видел. И ты тоже. Это противоречит здравому смыслу. Спроси любого. – Беттлз обратился к сидевшим вокруг печки, но спор продолжился между ним и Лоном Макфейном.

– Противоречит или нет – без разницы. Я говорю тебе правду. Прошлой осенью мы с Ситкой Чарли видели такую картину, когда сплавлялись через порог ниже форта Надежда. Тебе знакомо это место. Стояла обычная осенняя погода – лиственницы, золотые от солнца, и тополя. Рябь на реке сверкает ослепительно, а зима уже спускается с севера вместе с голубой дымкой. Ты столько раз это сам видел. И вот вдоль берегов по краям реки образуется толстая ледяная кромка, слышится легкий треск, воздух словно начинает искриться, и это входит в тебя, в твою кровь. И с каждым вдохом в тебе возрождается надежда, ты возвращаешься к жизни. А потом, парень, мир вокруг вдруг становится совсем маленьким и тебя тянет в неизвестные дали, да так, что пятки жжет.

Я вроде как туда уже отправился... Так вот, мы тихо гребли. Никаких следов льда, только небольшие льдины крутились в водоворотах, но тут индеец вдруг поднял весло и крикнул:

– Лон Макфейн, загляни вниз!

Я слышал про такое, но еще никогда не видел своими глазами! Ты же знаешь, что Ситка Чарли, как и я, не из этих мест, поэтому такая картина была для меня внове. Мы бросили грести и, свесив головы каждый со своего борта, вглядывались в глубину играющей воды. Там был мир, который я помнил с того времени, что провел вместе с ловцами жемчуга, наблюдая коралловые рифы и подводные сады, растущие в морских глубинах.

Это и был донный лед, который, облепив каждый камень на дне, прорастал кустами, словно белый коралл.

Но самая красивая картина ожидала нас впереди. Как только мы прошли порог, вода вдруг стала белой словно молоко, а поверхность ее покрылась маленьким кругами. Так бывает, когда хариус клюет весной или когда капли дождя падают в реку. То всплывал донный лед. Справа и слева, везде, на сколько хватало взгляда, вода была покрыта такими кругами.

А еще река в этот момент напоминала овсяную кашу, которая скользила вдоль бортов каноэ, липла к веслам. Я много раз проходил этот порог до того момента и много раз после, но даже намека на такое никогда не видел. Картинка осталась в памяти на всю жизнь.

– Ага, рассказывай! – сухо отозвался Беттлз. – Думаешь, я поверю в эти байки? Я лучше скажу, что ты ослеп и разучился говорить.

– Я видел это собственными глазами, и если бы Ситка Чарли был здесь, то поддержал бы меня.

– Но факты остаются фактами, и против них не попрешь. Это противоестественно природе, когда сначала замерзает вода, которая не соприкасается с воздухом.

– Но я видел...

– Все, довольно, – предостерег его Беттлз, заметив, как Лон начинает уступать своему вспыльчивому кельтскому норову.

– Значит, ты мне не веришь?

– Тому, что ты рассказал, нет. Я прежде всего верю природе. И фактам.

– Хочешь сказать, что я тебе наврал? – с угрозой поинтересовался Лон. – Порасспроси лучше свою сивашскую жену, правду я говорю или нет.

Беттлз вспыхнул от внезапно охватившей его ярости. Сам того не желая, ирландец крепко задел его. Жена Беттлза была наполовину индианкой и наполовину русской, дочь русского торговца пушниной. Они поженились в православной миссии Нулато за тысячу миль отсюда вниз по Юкону. Так что она принадлежала к более высокой касте, чем обычные индианки племени сиваш или какие-нибудь жены из местных. То был нюанс, понятный только искателю приключений с Севера.

– Полагаю, что можешь воспринимать мои слова таким образом, – поразмышляв, подтвердил он.

В следующий миг Лон Макфейн швырнул его на пол. Кружок вокруг печки разрушился, и полдюжины мужчин встали между ними.

Поднявшись, Беттлз отер кровь со рта.

– Это не новость, что ты любишь помахать кулаками. Тебе в голову не приходило, что за это можно схлопотать?

– Я еще ни разу в жизни не позволил простому смертному обвинить меня во лжи, – последовал учтивый ответ. – Это будет по-настоящему ужасный день, если я вдруг не окажусь рядом, чтобы помочь тебе отплатить мне, причем любым способом.

– У тебя все тот же самый тридцать восемь – пятьдесят пять?

Лон кивнул.

– Но ты подбери себе более подходящий калибр. Мой наделает в тебе дыр величиной с грецкий орех.

– Не переживай. У меня пули только с виду безобидные, на вылете из твоего тела они будут размером с олады. Так когда мне выпадет удовольствие ждать вас? Возле проруби, по моему, самое удобное место.

– Чудесно! Встретимся там через час. Долго ждать меня не придется.

Оба натянули рукавицы и покинули почтовую станцию, оставшись глухими к уговорам и увещаниям товарищей. Это была сушая мелочь! Однако для этих мужчин с их вспыльчивостью и природным упрямством мелочи быстро раздувались до огромных проблем.

Кроме того, искусство закладывать шахты для горных разработок пряталось еще где-то в далеком будущем, и поэтому мужчины Сороковой мили, запертые в одном месте на долгую арктическую зиму, отращивали животы от переедания и праздного образа жизни. Они становились раздражительны, как пчелы осенью, когда ульи переполняются медом.

На этой земле не существовало закона как такового. Создание горной полиции тоже было делом далекого будущего. Каждый мужчина сам оценивал степень нанесенной ему обиды и сам назначал наказание обидчику.

Необходимость групповых действий возникала редко. За всю безотрадную историю поселения восьмая из Божьих заповедей так и не была нарушена.

Большой Джим Белден быстро собрал импровизированное собрание. Место временного председателя занял Скраф Маккензи, к отцу Рубо отправили гонца с просьбой о посредничестве. Положение сложилось парадоксальное, это понимали все. По праву силы они могли вмешаться, чтобы предотвратить дуэль, однако подобные действия, хоть и соответствовали желанию каждого, шли вразрез с их убеждениями. В соответствии со своими устаревшими, словно вырубленными топором этическими принципами они признавали индивидуальное право ответить ударом на удар, но в то же время для них была непереносима мысль о том, что два добрых товарища, Беттлз и Макфейн, сойдутся в смертельной схватке. По их понятиям, человек, который не ответил на брошенный ему вызов, трус, но теперь, когда дело коснулось конкретного случая, им начало казаться, что это неправильный порядок и поединок следует предотвратить.

Но их обсуждение прервал топот бегущих ног, обутых в мокасины, громкие крики и револьверная пальба. Двери распахнулись, и в комнату ворвался Мэйлмют Кид. В его руке еще дымился «кольт», глаза торжествующе сияли.

– Я его завалил. – Он заменил стреляный патрон и добавил: – Твоего пса, Скраф.

– Желтого Клыка? – поинтересовался Маккензи.

– Нет, вислоухого.

– Вот дьявол! Я думал, с ним все было в порядке.

– Выйди и посмотри.

– Ладно, не важно. Сегодня утром Желтый Клык вернулся и сильно его потрепал, а потом чуть не сделал меня вдовцом. Накинулся на Заринку, но она наподдала ему по морде своими юбками и улепетнула. Только оставила у него в зубах кусок материи да вся вывалялась в снегу. А пес снова умчался в лес. Надеюсь, он больше не вернется. У тебя есть потери?

– Одна собака, лучшая из упряжки – Шукум. Она взбесилась сегодня утром, но убежала не очень далеко. Накинулась на собак Ситки Чарли – те гоняли ее по всей улице. И теперь две собаки из его упряжки, считай, потеряны. Тоже взбесились. Так что, как видишь, она сделала свое дело. К весне у нас, может, и совсем не останется собак, если мы ничего не предпримем.

– К весне мы и людей можем недосчитаться.

– Как так? Кто-то попал в беду?

– О, тут между Беттлзом и Лоном Макфейном разгорелся спор. Через несколько минут они закончат его возле проруби.

Обстоятельства инцидента ему изложили во всех подробностях, и Мэйлмют Кид, привыкший к беспрекословному подчинению сотоварищей, взял на себя груз ответственности. Он изложил им план, тут же родившийся у него в голове, и все пообещали строго следовать ему.

– Сами понимаете, – сказал он в заключение, – что мы не можем отобрать у них право устроить дуэль. Однако я не верю, что они будут стреляться, когда оценят красоту предложенной схемы. Жизнь – это игра, а люди – игроки. Люди готовы поставить все на один шанс из тысячи. Отберите у них этот один шанс, и им расхочется играть. – Мэйлмют Кид повернулся к человеку, который заведовал хозяйством почтовой станции. – Ну-ка отмерь мне три фатомы лучшей манильской пеньковой веревки полудюймовой толщины. Мы устроим прецедент, который мужчины Сороковой мили будут помнить до скончания веков.

Намотав веревку на кулак, он вывел мужчин на улицу, и вовремя. Там они как раз встретили главных действующих лиц.

– Какого рожна ему потребовалось вспомнить про мою жену? – прогрохотал Беттлз в ответ на дружеские увещания и решительно заключил: – Напрасно он это сделал. Напрасно!

Он, обиженный, расхаживал из стороны в сторону в ожидании Лона Макфейна и раз за разом повторял это.

А в это время Лон Макфейн с раскрасневшимся лицом проявлял чудеса красноречия, объявив мятеж против самой Церкви:

– Вот теперь, отец, я с легким сердцем завернусь в полотна пламени и улягусь спиной на пылающие угли. Никто не может объявить Лона Макфейна лжецом, не ответив за это! И я не прошу благословения. Времена были тяжелые, но сердцем я всегда оставался чист.

– Сердце здесь ни при чем, Лон, – остановил его отец Рубо. – Это гордыня толкает тебя на убийство друга.

– Вы француз, – отрезал Лон и повернулся, чтобы уйти. – Отслужите мессу по мне, если удача будет не на моей стороне?

Но священник только улыбнулся и направил свои обутые в мокасины ноги вперед, на холмистый берег замерзшей реки. К проруби вела утоптанная тропа шириной футов шестнадцать. По ее обеим сторонам лежал глубокий пушистый снег. На ходу мужчины выстроились в шеренгу по одному. Шли молча. Присутствие священника, одетого в черное и торжественно шагавшего в центре процессии, наводило на мысль о похоронах. Для Сороковой мили этот зимний день был относительно теплым. Небо тяжко приникло к земле, а ртуть в градуснике опустилась до необычной отметки всего в двадцать градусов ниже нуля. Но радости это тепло не принесло. В вышине не наблюдалось ни ветерка, облака висели неподвижно, зловеще обещающая скорый снегопад. А земля не реагировала на это, не готовилась ни к чему и была довольна своим бездействием.

Когда мужчины вышли к проруби, Беттлз, который, судя по всему, на ходу молча продолжал переживать стычку, в последний раз выкрикнул: «Напрасно он это сделал!» – в то время как Лон Макфейн хранил мрачное молчание: в негодовании он даже не мог говорить.

Однако, как только их собственные обиды отходили на второй план, оба в глубине души удивлялись своим товарищам. Они рассчитывали, что те начнут отговаривать их от поединка. То, что друзья согласились с их намерением, причиняло боль. Им казалось, что люди, с которыми у них было так много связано, могли бы отнестись к ним с большим сочувствием. И от этого они испытывали смутное ощущение, что все происходит как-то не так, возмущала сама мысль о том, что их братья пришли сюда, словно на представление, без единого слова протеста, только для того, чтобы посмотреть, как один из них укукошит другого. Это означало, что их ценность в глазах местного мужского сообщества резко пошла вниз. Такой образ действий приводил их в недоумение.

– Спина к спине, Давид. Обозначим расстояние в пятьдесят шагов до противника или удвоим число?

– Пятьдесят, – кровожадно прорычал Беттлз, но тут же осекся.

Однако новая пеньковая веревка, которую Мэйлмют Кид, словно невзначай, выставил напоказ, привлекла внимание ирландца и мгновенно вызвала в нем тревожное подозрение.

– А для чего тебе веревка?

– Давайте поторопимся! – Мэйлмют Кид глянул на свои часы. – Я замесил хлеб, и мне совсем не хочется, чтобы тесто село. Вдобавок у меня начали замерзать ноги.

Остальные мужчины тоже разными способами продемонстрировали свое нетерпение.

– Но веревка, Кид. Она совсем новая. Уверен, что твои хлебы не настолько тяжелые, чтобы тащить их с ее помощью.

Беттлз огляделся, а отец Рубо, до которого только сейчас дошел юмор ситуации, прикрыл улыбку рукой.

– Нет, Лон. Эта веревка предназначена для человека. – При случае, Мэйлмют Кид мог говорить весьма веско.

– Для какого человека? – У Беттлза вдруг проснулся личный интерес.

– Для второго.

– Кого ты под этим подразумеваешь?

– Послушай, Лон, и ты, Беттлз. Мы тут обсудили проблему, возникшую между вами, и пришли к единому мнению. Нам понятно, что у нас нет права остановить вашу схватку.

– Это правда, дружище!

– Да мы и не собирались. Но вот что мы можем сделать – и сделаем обязательно! – так это устроить так, чтобы ваша дуэль осталась единственной в истории Сороковой мили, и чтобы об этом узнал каждый, кто ходит по Юкону вверх и вниз. Тот, кто уцелеет после поединка, будет повешен на ближайшем дереве. Теперь начинайте!

Лон недоверчиво улыбнулся, потом его лицо просветлело.

– Отсчитывай шаги, Давид. Пятьдесят шагов. Отлично. И будем палить, пока кто-нибудь не упадет на землю. Им совесть не позволить сделать то, что они обещают. Ты же понимаешь, что янки, как всегда, блефует.

С довольной улыбкой на лице он повернулся, чтобы отойти, но Мэйлмют Кид остановил его.

– Лон, ты давно знаешь меня?

– Давно.

– А ты, Беттлз?

– Пять лет будет на половодье в следующем июне.

– И за все это время, я хоть раз нарушил свое слово? Может, ты слышал об этом от кого-нибудь?

Оба мужчины отрицательно покачали головами, явно пытаясь понять, что стоит за словами янки.

– Тогда как вы считаете: мое слово крепкое?

– Как твои кости, – подтвердил Беттлз.

– Как надежда добраться до райских кущей, – согласился с ним Лон Макфейн.

– Послушайте! Я, Мэйлмют Кид, даю вам слово – а вы оба понимаете, что это означает, – тот человек, которого не застрелят, через десять минут после поединка будет болтаться на веревке. – Он отступил назад, словно Понтий Пилат, умывший руки.

Повисла тишина, мужчины Сороковой мили молчали. Небо, казалось, опустилось еще ниже, отправляя на землю кристаллических посланцев мороза – маленькие геометрически правильные творения, совершенные, мимолетные как дыхание, которым, однако, было суждено просуществовать весь свой срок, пока солнце не вернется сюда, преодолев половину северного маршрута.

Оба мужчины в свое время не раз затевали обреченные на неудачу предприятия и начинали их с руганью или шутками, сохраняя в душе надежду на удачу и милость Божью. Но в данный момент его милосердие полностью исключалось. Они внимательно изучали лицо Мэйлмюта Кида, но с таким же успехом могли изучать выражение лица сфинкса. Минуты текли в молчании, и у них все сильнее возникало ощущение, что нужно что-то сказать. И тут тишину разорвал вой собаки, который донесся со стороны Сороковой мили. Потом этот странный звук, заставивший вздрогнуть и учащенно забиться сердца, с протяжным рыданием замер вдали.

– Да, будь я проклят! – Беттлз поднял воротник своей короткой утепленной куртки и беспомощно огляделся.

– Великолепную же игру ты затеял, Кид! – выкрикнул Лон Макфейн. – Вся прибыль игорному заведению, а игрок, сделавший ставку, остается с носом. Даже сам дьявол не согласился бы такие условия, я – тоже.

Раздались сдавленные смешки, последовали подмигивания, несмотря на то что покрытые инеем ресницы слиплись на морозе. Мужчины потянулись цепочкой вверх по заваленному снегом берегу, а затем двинулись по улице в сторону почтовой станции. Но протяжный вой

вдруг раздался много ближе, теперь в него вплелись новые угрожающие ноты. За углом завизжали женщины, донесся крик: «Вот он! Вот он!» – а в следующее мгновение вылетел мальчишка-индеец, за которым мчалась стая из полудюжины перепуганных до смерти собак. Мальчишка с ходу врезался в толпу мужчин, а за спиной у него возник Желтый Клык, мелькнула серая вздыбленная шерсть. Все, кроме янки, бросились врассыпную.

Споткнувшись, мальчишка упал. Беттлз остановился лишь на мгновение, только чтобы ухватить его за провисший пояс, а потом кинулся вместе с ним к поленнице, на которой уже восседали его товарищи. Желтый Клык сделал молниеносный разворот и бросился назад, за одной из собак. Собака хоть и не была заражена бешенством, но так испугалась, что сбила Беттлза с ног и помчалась дальше по улице. Навскидку Мэйлмют Кид выстрелил в Желтого Клыка. Кувыркнувшись в воздухе, бешеный пес приземлился на спину, но вскочил и в один прыжок преодолел половину расстояния до Беттлза. Однако смертельный рывок не удался. Лон Макфейн кубарем свалился с поленницы и встретил пса в полете. Они покатались по земле, Лон держал его за горло на вытянутой руке, шурясь, когда капли собачьей слюны попадали ему в лицо. Затем Беттлз с револьвером в руке невозмутимо дождался удобного момента и остановил сражение.

– Вот это была честная игра, Кид. – Лон поднялся и вытряхнул снег из рукавов. – Я поставил и честно выиграл.

Поздно вечером, когда Лон Макфейн отправился в хижину отца Рубо, чтобы добиться прощения от Церкви, Мэйлмют Кид вел долгий и бессмысленный разговор.

– Ты бы сделал это? – допытывался у него Маккензи. – Если бы вдруг они стали стреляться?

– Я когда-нибудь нарушил свое слово?

– Нет, но ведь не в этом дело. Ответь на вопрос. Сделал бы?

Мэйлмют Кид выпрямился.

– Скраф, я все время задаю себе этот вопрос и...

– И что?

– И пока не нашел ответа.

В далеком краю

Отправившись в путешествие по неведомым землям, человек неминуемо столкнется с необходимостью смириться с требованиями новой жизни. Отныне ему придется забыть многое из того, чему довелось научиться на родине, и познать чуждые правила и обычаи. Отказаться от старых идеалов, отвернуться от прежних богов и даже нарушить законы, до сих пор определявшие мысли и поступки. Тем, кто наделен гибкостью и счастливой способностью легко принимать любые обстоятельства, новизна перемен может доставить радость. Однако те, кто закоснел в давних, с детства укоренившихся привычках, с огромным трудом переносят гнет изменившихся условий, страдают душой и телом, все больше раздражаются в непонятном, порой враждебном окружении. Раздражение не отступает и не отпускает, порождая разнообразные пороки и приводя к многочисленным несчастьям. Человеку, не готовому вписаться в новые рамки, остается одно: признать поражение, как можно скорее все бросить и вернуться домой, на родину. Промедление грозит неминуемой смертью.

Тот, кто поворачивается спиной к достижениям старой цивилизации, чтобы встретиться с дикой молодостью и первобытной простотой Севера, должен измерять успех в обратной пропорции к количеству и качеству собственного физического комфорта. Достойный искатель приключений скоро обнаружит, что материальные блага стремительно теряют смысл. Переход от разнообразного вкусного рациона к простой грубой пище, от плотной кожаной обуви на устойчивой подошве к мягким бесформенным мокасинам, от удобной постели к подстилке на снегу практически ничего не значит. Сложнее научиться правильному отношению ко всему вокруг, а особенно к людям, с которыми свела судьба. Условный этикет прошлой жизни должен уступить место истинной благожелательности, искренней снисходительности и неподдельной терпимости. Так и только так можно обрести драгоценное, единственно важное ощущение товарищества. Бессмысленно поблагодарить человека пустым, затертым до дыр словом «спасибо». Более ценно выразить признательность молча, доказывая чувство ответными действиями. Короче говоря, на Севере действует простое правило: необходимо слова заменить делами, а букве предпочесть дух.

Когда распространился слух об арктическом золоте и людские сердца дружно потянулись к Северу, Картер Уэзерби бросил насиженное место клерка, переписал половину сбережений на жену, а на оставшиеся деньги купил необходимое снаряжение. К этому времени романтики в его душе совсем не осталось: тиски коммерции выдавили последние капли. Он просто устал от бесконечной скачки с препятствиями и решил рискнуть в надежде на везение и удачу. Подобно множеству других глупцов, с презрением отвергших старые испытанные пути, проложенные пионерами еще десять лет назад, весной Картер Уэзерби приехал в Эдмонтон и там, крайне неудачно для собственной души, примкнул к группе старателей.

Собственно говоря, в партии этой не было ничего необычного, если не считать ее планов. Целью путешествия значился Клондайк, что вполне соответствовало общепринятым нормам, однако выбранный маршрут приводил в трепет даже самых стойких, закаленных местных жителей, с раннего детства привыкших к суровым условиям северо-запада. Удивился даже Жак Батист – сын индианки из племени чиппева и заезжего торговца пушниной. Свой первый крик младенец издал в вигваме из оленьих шкур, а замолчал, когда в рот ему сунули кусок сырого сала. Да, метис продал безумцам свои услуги опытного проводника и даже согласился отвести их к вечным льдам, однако всякий раз, когда у него спрашивали совета, зловеще качал головой.

Наверное, как раз в это время взошла несчастная звезда Перси Катферта, поскольку его тоже угораздило примкнуть к сообществу бесстрашных аргонавтов. Раньше он был обычным человеком, с банковским счетом столь же глубоким, как познания в области культуры, что свидетельствует о многом. Причин отправиться на поиски приключений у него не было ни

малейших, если не считать чрезмерной сентиментальности, которую сам Перси Катферт принял за романтический порыв. Многие другие путешественники поступили так же, совершив роковую ошибку.

Весна застала партию на берегу только что вскрывшейся реки Элк. Предстояло плыть вниз по течению, вслед за льдинами. Благодаря обилию снаряжения и сомнительной компании метисов-проводников с женами и детьми флотилия выглядела весьма внушительной. Изо дня в день путешественникам приходилось сражаться с неподатливыми плоскодонками и каноэ, отмахиваться от комаров и прочих мерзких тварей, обливаться потом и нещадно сквернословить, перетаскивая лодки на сухопутных переправах. Давно известно, что тяжелые испытания обнажают таинственные глубины человеческой души; вот и сейчас, прежде чем осталось на юге озеро Атабаска, каждый из членов команды успел показать, чего стобит на самом деле.

Главными нытиками, ворчунами и лодырями оказались Картер Уэзерби и Перси Катферт. Все прочие члены команды золотоискателей жаловались на усталость и болячки меньше, чем каждый из этих двоих. Ни разу они не вызвались исполнить хотя бы одну из тысячи мелких, но необходимых хозяйственных работ: принести ведро воды, превратить найденные в лесу сухие сучья в охапку дров, вымыть и вытереть посуду, найти в поклаже внезапно понадобившуюся вещь. Всякий раз эти изнеженные побегии цивилизации обнаруживали на собственных телах требующие срочного лечения ссадины или мозоли.

Вечером они первыми ложились спать, так и не закончив работу, а утром, когда предстояло еще до завтрака собраться в путь, последними вылезали из палатки.

Оба первыми бросались к еде, хотя и не участвовали в стряпне; первыми тянулись к лакомству, не замечая, что заодно прихватили чужую порцию. Садясь на весла, хитрили, украдкой задевая лопастями лишь поверхность воды и предоставляя лодке двигаться по инерции. Им казалось, будто никто не замечает уловов, однако товарищи все видели, шепотом посылали хитрецов к чертям, а ненавидели пусть и молча, но от всей души. Один лишь Жак Батист открыто демонстрировал презрение и проклинал обоих с утра до вечера. Но ведь Жак Батист не был джентльменом.

На Большом Невольничьем озере путешественники купили сильных выносливых собак породы канадская лайка и так основательно загрузили лодки запасами вяленой рыбы и пеммикана – особым способом высушенного мяса, – что суденышки осели до критической черты. Но, даже изрядно отяжелев, плоскодонки и каноэ продолжали подчиняться воле быстрого течения, и скоро река Маккензи вынесла флотилию к Великой бесплодной земле. Там упорные старатели исследовали каждую земляную россыпь, каждый ручеек, однако неуловимые, как мираж, золотоносные пласты отступили еще дальше. На Большом Медвежьем озере проводников охватил суеверный страх перед неизведанными землями, и они начали один за другим дезертировать, а возле форта Доброй Надежды даже самые крепкие и отважные из метисов схватились за канаты и потянули свои лодки против течения, которому еще недавно так легкомысленно доверялись.

В партии остался один Жак Батист. Разве он не поклялся добраться до вечных льдов? Теперь постоянно приходилось сверять путь с обманчивыми, составленными по рассказам бывалых путешественников картами.

Нужно было спешить, ведь летнее солнцестояние завершалось, и коварное светило упрямо клонилось к горизонту, продвигая зиму дальше на юг. Вдоль берегов залива, где река Маккензи впадает в Северный Ледовитый океан, путники добрались до устья реки Литл-Пил. Отсюда начался мучительный подъем вверх по течению, и лентяи окончательно приуныли. Канат и багор, весла и лямки, пороги и волоки – все эти нескончаемые пытки внушили одному из них стойкое отвращение к любому испытанию, а другого навсегда избавили от наивного романтизма. Однажды оба заупрямились и под градом проклятий Жака Батиста скорчились подобно червям, отказываясь идти дальше. Однако метис свирепо избил нытиков и заставил

продолжить путь, в синяках и кровоподтеках. Так Уэзерби и Катферт впервые в жизни испытали побои на собственной шкуре.

Бросив лодки в верховье реки Литл-Пил, остаток лета партия провела в пешем переходе от Маккензи к ручью Уэст-Рэт – притоку реки Поркьюпайн, которая впадает в Юкон там, где этот великий водный путь пересекает Северный полярный круг.

Зима не приняла во внимание планы самонадеянных людей, и однажды путникам пришлось привязать плоты к прочному торосу и поспешно перенести поклажу на берег. Той ночью река несколько раз покрывалась ледяной коркой и вновь начинала двигаться, а уже утром уснула до весны.

– До Юкона осталось не более четырехсот миль, – заключил Слоупер, ногтем большого пальца измеряя расстояние на карте. Обсуждение, во время которого оба нытика показали себя во всей красе, подходило к концу.

– Прежде там находился форт компании «Хадсон-Бей», а теперь ничего не осталось, – произнес Жак Батист, чей отец, когда-то служивший в пушной компании, уже прошел по этим местам, по дороге отморозив и потеряв два пальца на ноге.

– С ума сошел! – в отчаянии крикнул кто-то. – Неужели здесь совсем нет белых?

– Ни единого человека, – авторитетно подтвердил Слоупер. – Но от Юкона до Доусона не более пятисот миль. То есть отсюда в общей сложности примерно тысяча.

Картер Уэзерби и Перси Катферт громко застонали.

– Долго придется идти, Жак Батист?

Метис задумался.

– Если все будут трудиться как черти и ни один не сдастся, то десять, двадцать, сорок, пятьдесят дней. А с этими молокососами, – кивнул он на лодырей, – трудно сказать. Может, доберемся к тому времени как замерзнет ад, а может, и никогда.

Ремонт снегоступов и мокасин завершился. Кто-то окликнул отсутствующего товарища, и тот вышел из приютившейся неподалеку старой хижины. Избушка эта представляла собой одну из многочисленных тайн бескрайних северных просторов. Неизвестно, кто и когда ее построил.

Наверное, ответить смогли бы две сложенные из камней могилы, но они молчали. Чьи руки соорудили на каждой пусть и примитивное, но вечное надгробие?

Настал решающий момент. Запрягавший собак Жак Батист прервал занятие и заставил животных смирно лежать на снегу. Повар знаком попросил еще одну секунду, бросил в кипящий котел с фасолью пригоршню вяленого бекона и замер в ожидании. Слоупер встал. Сложение этого мужественного человека резко контрастировало с цветущей внешностью слабаков. Желтый, истощенный, он вырвался из глухого закоулка Южной Америки, где свирепствовала лютая лихорадка, однако держался стойко и без жалоб преодолевал трудности, честно деля работу со спутниками. Весил он не более девяноста фунтов, да и то вместе с тяжелым охотничьим ножом, а седина в волосах предательски выдавала возраст. Свежие молодые мускулы Уэзерби и Катферта обладали в десять раз большей силой, но Слоупер спокойно выдерживал дневной переход, а те падали от усталости. Целый день Слоупер убеждал самых крепких духом товарищей отважиться на тысячу миль тяжелейших испытаний. В этом человеке воплотился беспокойный характер его народа, а тевтонское упрямство в сочетании со сметливостью и деловитостью янки надежно держало тело во власти духа.

– Все, кто готов продолжить путь с собаками, как только окрепнет лед, скажите «да».

– Да! – дружно раздалось восемь голосов. За многие сотни миль тяжелейшего пути каждому из их обладателей предстояло не однажды проклясть это мгновение.

– Кто против?

– Мы!

Впервые два отщепенца объединились без учета личных интересов каждого.

– Как же собираетесь поступить? – раздраженно уточнил Картер Уэзерби.
– Большинство решает! Пусть подчиняются большинству! – потребовали остальные.
– Понимаю, что если вы с нами не пойдете, то экспедиция наверняка провалится, – спокойно произнес Слоупер. – И все же надеюсь, что, если очень постараться, удастся обойтись и без вас. Что скажете, парни?

Ответом послужил одобрителный гул.

– Вот только хотелось бы узнать, – осторожно осведомился Перси Катферт, – что теперь делать, например, мне?

– Идешь с нами?

– Не-е-ет.

– Значит, делай все, что угодно, черт возьми. Нам-то какая разница?

– Полагаю, можешь обсудить этот вопрос со своим дорогим дружкой, – презрительно протянул крепкий уроженец Дакоты и показал на Уэзерби. – Как только потребуется сварить еду или принести дров, он сразу объяснит, как тебе поступить.

– Значит, решено, – сказал Слоупер. – Завтра выходим. Пройдем пять миль и сделаем остановку: убедимся, что все в порядке и ничего не забыли.

И вот сани заскрипели обитыми сталью полозьями; собаки до отказа натянули упряжь, в которой им суждено было умереть.

Жак Батист остановился рядом со Слоупером и напоследок окинул взглядом хижину. Из трубы железной юконской печи поднималась тонкая струйка дыма. Возле двери стояли двое разочаровавшихся в северной романтике отщепенцев и с тайным злорадством наблюдали за отъездом безумных упрямец. Слоупер положил ладонь на плечо проводника.

– Жак Батист, тебе доводилось слышать историю о котах из Килкенни?

Метис покачал головой.

– Так вот, друг мой и верный товарищ: два кота из Килкенни дрались до тех пор, пока от них не осталось ничего: ни клочка шерсти, ни кусочка шкуры, ни единого «мяу». Ничего. Понимаешь? Все исчезло. Так вот, эти двое терпеть не могут работу. Остаются в хижине на всю зиму – долгую, холодную, темную зиму. Похоже на котов из Килкенни, правда?

Жак Батист пожал плечами и мудро промолчал, однако движение оказалось красноречивым, если не пророческим. На первых порах обитатели хижины жили припеваючи. Грубые насмешки товарищей заставили Уэзерби и Катферта осознать объединившую их взаимную ответственность. К тому же для двух здоровых мужчин работы оказалось не так уж много, а внезапное освобождение от нестерпимого гнета со стороны грозного метиса отозвалось в душах радостью. Поначалу каждый старался доказать другому, на что горазд, и оба выполняли мелкую работу с рвением, способным удивить бывших спутников, изнуряющих тела и души в долгой мучительной дороге.

Все неприятности отступили. Лес, приближавшийся к хижине с трех сторон, служил неистощимым источником дров. С четвертой стороны, на расстоянии несколько ярдов, дремала река Поркьюпайн. Прорубь в сковавшем ее ледяном панцире предоставила свободный доступ к воде – кристально чистой и нестерпимо холодной, – однако вскоре даже это благо обернулось трудностью. Прорубь постоянно замерзала, и приходилось подолгу долбить твердый как камень лед. Неведомые строители хижины продлили боковые бревна таким образом, что у задней стены появилось надежное хранилище для припасов. Сюда сложили немалую часть заготовленной на партию провизии.

Еды осталось по меньшей мере в три раза больше, чем требовалось двоим зимовщикам. Жаль только, что почти все продукты поддерживали силу и энергию, однако не радовали вкус.

Правда, нашелся сахар, причем в огромном количестве, но эти двое оказались хуже маленьких детей. Оба быстро обнаружили достоинства щедро сдобренной сахаром воды и принялись расточительно макать оладьи и сухари в густой белый сироп. Кофе, чай и особенно

сухофрукты также требовали обилия сахара, так что первая размолвка возникла именно по этому поводу. А если два человека, полностью зависящие друг от друга, начинают ссориться, значит, беда не за горами.

Уэзерби любил громко рассуждать о политике. Катферт же, напротив, предпочитал стричь купоны, не думая о том, как именно государство решает свои проблемы. Поэтому в ответ он лишь угрюмо молчал или раздражался колкими насмешками. Однако клерк оказался недостаточно смышленным, чтобы по достоинству оценить остроумие собеседника; напрасная трата драгоценных умственных усилий обескураживала Катферта. Он привык поражать общество блеском собственного красноречия, так что потеря заинтересованной аудитории доставила серьезное разочарование. Катферт чувствовал себя недооцененным и уязвленным в лучших чувствах, а потому подсознательно винил в неудаче туповатого товарища.

Помимо бытовых проблем вынужденных соседей ничто не связывало, не существовало ни единой темы для разговора.

Всю жизнь Картер Уэзерби прослужил клерком и не успел узнать ничего помимо канцелярской работы. Перси Катферт получил диплом магистра искусств, сам баловался живописью и пробовал силы в литературе. Первый принадлежал к низшему классу, однако считал себя джентльменом, в то время как второй действительно был джентльменом и по праву сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что человек может оставаться джентльменом, не обладая природным инстинктом товарищества. Клерк воспринимал мир настолько же чувственно и плотски, насколько джентльмен рассматривал его с эстетической точки зрения, а потому долгие рассуждения о вымышленной любви к приключениям действовали на любителя изящных искусств примерно так же, как равное количество испарений из сточной канавы. Магистр считал клерка грязным, невоспитанным дикарем, чье место в хлеву рядом со свиньями, и однажды прямо об этом заявил, а в ответ услышал, что сам он баба и размазня, да к тому же еще и хам. Что именно в данном контексте означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить, однако оно достигло цели, а это главное.

Уэзерби пел страшно фальшиво, но мог часами напролет исполнять такие шедевры как «Бостонский бандит» и «Красавчик юнга». Катферт плакал от ярости, а потом не выдерживал и выскакивал из хижины. Однако деваться было некуда. Лютый мороз сразу загонял его обратно, в ненавистную тесноту. Две койки, печка, стол и двое взрослых мужчин на территории площадью десять на двенадцать футов. В подобных условиях само присутствие другого человека превращалось в личное оскорбление. Обитатели хижины постоянно впадали в угрюмое молчание, с каждым днем становившееся все мрачнее, глубже и продолжительнее. Порой для начала ссоры хватало лишь косога взгляда или недовольного выражения лица, хотя во время этих враждебных периодов каждый старался не замечать другого.

В сознании обоих зрел молчаливый и оттого еще более острый вопрос: как Господь позволил появиться на свет подобному чудовищу?

В томительном безделье часы тянулись нестерпимо медленно. Естественно, что от этого лентяи стали еще ленивее, впали в физическую летаргию, вырваться из которой уже не представлялось возможным, и начали бояться любой, даже самой простой и легкой, работы. Однажды утром, когда настала очередь готовить обычный завтрак, Картер Уэзерби вылез из-под одеяла, под храп товарища зажег сальную лампу и развел огонь в печи. Вода в котелке замерзла, умыться было нечем, однако он не огорчился. Ожидая, пока вода растает, нарезал бекон и принялся за ненавистный ритуал выпекания хлеба. Все это время Перси Катферт злобно наблюдал за соседом из-под полуопущенных век.

Возникла ссора, во время которой ни один не поспешил на яростные проклятия. В результате было решено, что отныне и впредь каждый готовит еду только для себя. Неделию спустя Катферт обошелся без водных процедур, однако с удовольствием позавтракал. Уэзерби

молча, саркастически усмехнулся. После этого глупая привычка умыться навсегда покинула насквозь промерзшую хижину.

По мере того как запасы сахара и других скромных лакомств скудели, каждый начал бояться, что не получает справедливой доли. Чтобы не позволить сопернику обогнать себя, оба начали объедаться. Соревнование в обжорстве навредило не только припасам, но и людям.

В отсутствие свежих овощей и движения кровь оскудела, а тела покрылись мерзкой лиловой сыпью. Однако зимовщики пренебрегли этим красноречивым предупреждением. Затем начали распухать суставы и мышцы, кожа почернела, а язык, десны и губы приобрели цвет жирных сливок. Вместо того чтобы сплотиться в несчастье, оба тайно злорадствовали над симптомами врага, а цинга тем временем коварно наступала.

Вскоре Катферт и Уэзерби утратили всякий интерес к собственной внешности, а заодно перестали соблюдать простейшие правила приличия. Хижина превратилась в хлев; постели больше никто не заправлял, да и свежий еловый лапник не подстилал. Но постоянно лежать под одеялами, как того хотелось, зимовщики не могли: мороз становился суровее, а железная печка жадно поглощала дрова. Волосы и бороды у обоих неопрятно отросли, а одежда отпугнула бы даже самого непритязательного старьевщика. Однако подобные мелочи уже никого не волновали. Оба были тяжело больны и не заботились о внешнем виде. К тому же каждое движение доставляло острые мучения.

Вскоре добавилось новое несчастье – страх перед Севером, порожденный великим холодом и великим безмолвием. Страх возник в декабрьской тьме, когда солнце навеки спряталось за горизонтом. Каждый страдал по-своему. Уэзерби пал жертвой грубых суеверий и начал общаться с духами, спавшими в забытых могилах. Занятие быстро лишило воли; отныне призраки являлись к нему во сне и залезали под одеяло, чтобы рассказать о былых трудах и горестях. Напрасно Картер Уэзерби сторонился, пытаясь увернуться от ледяных прикосновений. Жуткие существа прижимались все теснее, гладили ноги своими холодными ногами и шептали на ухо страшные пророчества. В такие моменты хижина оглашалась диким криком. Перси Катферт не понимал, что происходит, поскольку общение давно прекратилось. Всякий раз он хватался за револьвер и подолгу сидел в темноте, нервно дрожа и направив дуло на ничего не подозревавшего соседа. Он считал, что Уэзерби сходит с ума, и опасался за свою жизнь.

Его собственная болезнь протекала в менее определенной, агрессивной форме. Таинственный строитель, сложивший хижину бревно за бревном, прикрепил на конек крыши флюгер в виде полумесяца. Катферт заметил, что концы серпа всегда указывают на юг, и однажды в порыве раздражения намеренно повернул полумесяц на восток и начал терпеливо наблюдать, однако ни единое дуновение не нарушило неподвижности железной фигуры. Тогда он повернул флюгер на север и поклялся не прикасаться, пока не поднимется ветер, но воздух пребывал в неземном покое. Часто Катферт вставал среди ночи, чтобы проверить, не повернулся ли серп. Даже малейшего отклонения в десять градусов оказалось бы достаточно. Нет, флюгер замер в неподвижности столь же неотступной, как сама судьба.

Воображение вышло из повиновения, и кусок железа на крыше превратился в фетиш. Порой Катферт следовал по указанному флюгером мрачному пути, и душа наполнялась страхом. До тех пор размышлял он о невидимом и неведомом, пока гнет вечности не становился невыносимо тяжелым, угрожая раздавить. На Севере все обладало сокрушительной силой: отсутствие жизни и движения; темнота; бесконечный покой застывшей земли; отвратительная тишина, где даже стук сердца казался кошунством; торжественный мрачный лес, хранивший ужасную, не выразимую ни словами, ни мыслями тайну.

Недавно покинутый мир с шумными городами и деловой суетой погрузился в небытие. Правда, воспоминания посещали Катферта – об аукционных залах, галереях, оживленных улицах, вечерних нарядах и светских раутах, о приятных мужчинах и милых дамах, которых довелось встретить. Но все это происходило в иной, далекой жизни, много веков назад, на другой

планете. А вот этот фантом превратился в реальность. Стоя под флюгером и устремив взгляд в черное полярное небо, Перси Катферт никак не мог осознать, что южные края действительно существуют и в эту минуту там бурно кипит жизнь. Нет, никакого юга не было и в помине. Не рождались на свет мужчины и женщины, никто не женился и не выходил замуж. За холодным горизонтом простирались бескрайние пустые пространства, а за ними открывались новые, еще более обширные безлюдные дали. Нигде не светило солнце, не благоухали цветы. Эти образы не более чем вечная мечта о рае. Зеленые просторы Запада, пряные ароматы Востока, улыбающиеся сады Аркадии и благословенные Острова Блаженных... Ха-ха-ха! Собственный смех грубо рассек молчаливый мрак и напугал своим странным звуком. Солнца не существовало.

Существовала лишь Вселенная – мертвая, холодная и темная, – и в крошечной пустоте он, ее единственный обитатель. Уэзерби? В такие моменты Уэзерби в счет не шел. Он представлялся Калибаном – страшным призраком, навечно прикованным к Катферту в наказание за давний, забытый грех.

Он жил со смертью среди мертвых, обессиленный сознанием собственной ничтожности, раздавленный неподвижной тяжестью дремлющих веков. Величие окружающего мира потрясало и приводило в смятение. Все сущее, кроме него самого, достигало абсолюта: полное отсутствие ветра и движения, бескрайние просторы укрытой снегом дикой земли, высота небес и глубина вечного безмолвия. Флюгер... если бы только серп сдвинулся с места... если бы вдруг грянул гром или вспыхнул в пожаре лес...

Если бы небо свернулось в свиток, судьба нанесла внезапный удар... все, что угодно! Но нет, ничто вокруг не шелохнулось; безмолвие властвовало над миром, и страх перед Севером крепче сжимал сердце ледяными когтями.

Однажды, подобно Робинзону Крузо, на берегу реки Катферт увидел следы – оставшийся на тонком насте легкий отпечаток заячьих лап. Открытие потрясло его. Оказывается, на Севере есть жизнь! Не отрывая взгляда, торжествуя, он пошел по следу. Охваченный экстазом предчувствия, забыв о распухших суставах, Катферт лез по глубокому снегу. Лес обступил со всех сторон, мимолетные сумерки погасли, однако он продолжал погоню до тех пор, пока в полном изнеможении, в отчаянии не рухнул в снег.

Наконец, проклиная собственную глупость, Перси Катферт понял, что след существует только в воспаленном воображении. Лишь поздней ночью он ползком вернулся в хижину с отмороженными щеками и странно онемевшими ногами. Уэзерби помощи не предложил, зато злобно усмехнулся. Катферт колот пальцы ног иголками, грел возле печки, но напрасно. Через неделю началась гангрена.

Клерк тем временем переживал собственные жестокие испытания. Мертвецы все чаще покидали свои могилы, ни днем, ни ночью не оставляя в покое. Он постоянно ждал их, а мимо двух каменных пирамид проходил не иначе как с содроганием. Однажды призраки явились во сне и увели с собой. В ужасе Уэзерби проснулся между могилами и поспешил вернуться в хижину, но, судя по всему, на снегу он лежал долго: щеки и ноги тоже оказались отмороженными.

Порой постоянное присутствие мертвецов доводило Картера Уэзерби до отчаяния, и он начинал дико метаться по хижине, размахивая топором и круша все вокруг.

Во время сражений с призраками Катферт прятался под одеяло и напряженно следил за одержимым, сжимая в руке заряженный револьвер, чтобы выстрелить, если тот подбежит слишком близко.

Однажды, очнувшись от припадка, клерк заметил направленное на него дуло.

Отныне и его охватил страх за собственную жизнь. С этого дня взаимная слежка не прекращалась ни на минуту, а если одному случалось пройти за спиной другого, тот нервно оборачивался. Ужас перед соседом не отступал и во сне, превратившись в навязчивую идею. Тусклая сальная лампа теперь светила даже по ночам; ложась спать, оба проверяли, достаточно ли

в ней жира. Малейшее движение с вражеской стороны хижины заставляло проснуться; много бессонных часов провели оба, дрожа под одеялами и держа пальцы на спусковых крючках.

Страх перед Севером, психическое напряжение, тяжкие физические недуги – все это не могло пройти бесследно. Со временем несчастные, оставленные Богом создания окончательно утратили человеческий облик и превратились в диких зверей – загнанных и злобных.

Отмороженные щеки и носы почернели. Пальцы ног начали отваливаться, сустав за суставом. Малейшее движение доставляло острую боль, однако ненасытная печка постоянно нуждалась в дровах, требуя мучительного выкупа за минутное тепло. Изо дня в день она просила свой неизменный фунт мяса, так что приходилось на коленях ползти в лес за несколькими полянками. Однажды в поисках сухих веток, сами того не сознавая, Уэзерби и Катферт проникли в чащу с разных сторон, навстречу друг другу. Внезапно, без предупреждения, два страшных существа оказались лицом к лицу. Страдания изменили обоих до неузнаваемости. В ужасе они вскочили и бросились прочь на изуродованных ногах, а едва сойдясь возле хижины, принялись драться и царапаться, пока не осознали собственного помешательства.

Порой психоз отступал. В один из таких периодов в отупевшие головы пришла счастливая мысль: поделить поровну главный повод для ссор – сахар. Отныне каждый из соперников ревниво охранял собственный запас, ведь сахара осталось всего несколько кружек, а соседи окончательно утратили доверие друг к другу.

Но однажды Катферт совершил роковую ошибку. С трудом двигаясь, страдая от боли и головокружения, почти ничего не видя, он заполз в кладовку с банкой для сахара в руке и перепутал мешки.

Когда случилось это несчастье, январь только начался. Солнце недавно миновало нижнюю точку и в полдень отбрасывало на северное небо призрачные желтые отсветы. На следующий день Катферт почувствовал себя крепче и телом, и духом. За несколько минут до полудня, когда день посветлел, он выполз из хижины, чтобы встретить эфемерное сияние и убедиться в серьезности намерений светила. Уэзерби тоже взбодрился и выбрался на свет. Оба устроились в снегу под неподвижным флюгером и погрузились в ожидание.

Вокруг царила мертвая неподвижность. Если природа впадает в задумчивость в ином климате, в воздухе возникает приглушенное напряжение предчувствия, ожидание некоего звука, призванного разбавить сгустившуюся тишину. На Севере все иначе. Два несчастных существа провели в призрачном безмолвии целую вечность. Они уже не помнили песен прошлого и не могли сочинить песню будущего. Это неземное спокойствие – равнодушное молчание бесконечности – присутствовало всегда.

Взгляды устремились в сторону севера. За спинами, за высокими горами на юге, невидимое солнце поднялось к зениту чужого неба. Единственные зрители величественной картины, зимовщики, наблюдали за медленным восхождением ложной зари. Слабое сияние росло и ширилось, становясь увереннее, переходя от красновато-желтых тонов к фиолетовым, а затем к шафранным. Свет был таким ярким, что Катферт решил, будто за ним действительно стоит солнце. Чудо! Светило всходило на севере! И вдруг, без предупреждения и постепенности, холст очистился. Цвета исчезли. Свет покинул землю.

Рыдания сдавили грудь. Но что это? В морозном воздухе заблестели крохотные искристые льдинки, а там, на севере, на снегу возникло слабое очертание флюгера. Тень! Тень! Произошло это ровно в полдень. Оба поспешно обернулись к югу. Над снежным плечом горы показался золотой ободок, улыбнулся и снова скрылся из виду. Подчинившись странному наплыву чувств, со слезами на глазах два человека переглянулись. Их влекло друг к другу. Солнце возвращалось. Оно явится завтра, послезавтра, на следующий день! С каждым разом задержится все дольше, и наконец настанет время, когда солнце уже не спрячется за горизонтом, а будет светить всегда. Ночь уйдет. Закованная в лед зима сдастся и отступит. Подуют ветры, лес ответит приветственным гулом. Земля согреется под благословенным теплом, и жизнь вернется.

Рука об руку они покинут этот страшный сон и отправятся на юг. Картер Уэзерби и Перси Катферт слепо потянулись друг к другу, и руки их встретились – скрытые толстыми рукавицами бедные искалеченные ладони, распухшие и искривленные.

Однако мечтам не суждено было сбыться. Север есть Север, и люди здесь истощают души странными правилами, недоступными пониманию тех, кто не путешествовал по далекому пустынному краю.

Через час Перси Катферт поставил в печь противень с хлебом и задумался, что смогут сделать с отмороженными ногами врачи на Большой земле. Теперь уже дом не казался таким далеким, как прежде. Картер Уэзерби что-то искал в кладовке. Внезапно он разразился бурными проклятиями, а потом так же неожиданно и оттого еще более пугающе затих. Выяснилось, что на его мешок с сахаром совершен воровской набег. Но даже сейчас ситуация могла бы сложиться иначе, если бы в эту минуту мертвецы не вышли из могил и не начали нашептывать на ухо страшные, несправедные слова. Тихо, очень тихо они вывели Картера Уэзерби из кладовки, оставив дверь открытой. Решающий миг настал. Все, что являлось в лихорадочных снах, должно было немедленно свершиться наяву. Мертвецы неслышно подвели к поленице и вложили в руки топор. Потом помогли открыть дверь хижины, и сами закрыли ее – по крайней мере, Картер Уэзерби ясно слышал, как дверь хлопнула; как щелкнула, упав на место, щеколда. Он знал, что призраки ждут у порога, наблюдая за исполнением возложенной миссии.

– Картер! Послушай, Картер! – Отрешенное лицо клерка испугало Перси Катферта, и он торопливо отгородился столом.

Уэзерби не остановился, а без суеты и энтузиазма обошел препятствие. Лицо его не выражало ни жалости, ни гнева – лишь спокойное, сосредоточенное терпение человека, получившего важное задание и готового методично исполнить его.

– Объясни, в чем дело?

Клерк шагнул назад, отрезая путь к двери, однако не проронил ни слова.

– Послушай, Картер, давай поговорим, все обсудим. Ты же отличный парень.

Магистр искусств торопливо соображал, рассчитывая молниеносный бросок к кровати, где притаился «смит-вессон»; не сводя глаз с безумца, метнулся к цели и схватил револьвер.

– Картер!

Раздался выстрел, однако в то же мгновение Уэзерби взмахнул страшным оружием и бросился в атаку. Удар топора пришелся в основание позвоночника, и нижняя часть тела сразу утратила чувствительность. Клерк навалился, придавил своим весом и сжал горло костлявыми пальцами. Револьвер выпал из руки; задыхаясь под тяжестью врага, Перси Катферт лихорадочно шарил по одеялу, пытаясь нащупать оружие. И вдруг вспомнил. Засунув руку за пояс Уэзерби, он вытащил из ножен охотничий нож. Настал миг последнего объятия.

Перси Катферт ощущал, как капля за каплей уходят силы. Нижняя часть тела не повиновалась; к тому же, как медведя в капкане, Уэзерби пригвоздил к месту весом своего тела. Хижина наполнилась знакомым запахом: начинал подгорать хлеб. Но разве теперь это имело значение? Хлеб больше не понадобится. А в кладовке осталось шесть кружек сахара – если бы знал, что так получится, не сэкономил бы в последние дни. Повернется ли когда-нибудь флюгер? Почему бы и нет? Разве не взошло сегодня солнце? Надо бы пойти посмотреть. Но нет, пошевелиться невозможно. Кто бы подумал, что мертвый клерк окажется таким тяжелым?

Как холодно становится! Наверное, огонь в печи уже погас. Хижина остывает быстро.

Теперь столбик термометра опустился ниже нуля, на двери появился иней. Перси Катферт его не видел, однако жизненный опыт подсказывал, что происходит, когда температура падает. Вероятно, нижняя петля уже заиндевела. Узнает ли мир его историю? Как воспримут новость друзья? Прочитают сообщение в утренней газете, за чашкой кофе, а вечером обсудят в клубе. Он явственно слышал голоса былых приятелей: «Бедный старина Катферт! По сути, неплохой был парень».

Он улыбнулся сдержанной похвале и пошел дальше в поисках турецкой бани. На улицах, как всегда, толпились люди.

Странно, что никто не обращает внимания на мокасины из лосиной шкуры и рваные немецкие носки! Лучше взять кеб. А после бани неплохо бы побриться. Но прежде всего плотно пообедать.

Бифштекс с картофелем и зеленью. До чего же вкусно! А это что здесь? О, соты со свежим медом, струящийся янтарь! Но зачем же принесли так много? Ха-ха! Разве можно столько съесть?

Почистить ботинки! Да, конечно. Перси Катферт поставил ногу на ящик. Чистильщик поднял голову и взглянул удивленно. Ах да! Только сейчас он вспомнил, что на ногах мягкие мокасины, и поспешно ушел.

Что за звук? Кажется, флюгер повернулся. Нет, это звенит в ушах. Да, лишь звон в ушах. Иней, должно быть, уже забрался выше щеколды, скорее всего захватил верхнюю петлю. В законопаченных мхом щелях между стропилами появились маленькие ледяные островки. Как медленно они растут! Впрочем, не так уж и медленно. Вот родился еще один, и еще. Два, три, четыре. Слишком быстро, трудно сосчитать. Вот два соединились, и к ним тянется третий.

Все. Больше островков не осталось. Слились в сплошное белое полотнище.

Что ж, по крайней мере, он не один. Если архангел Гавриил когда-нибудь нарушит северное безмолвие, они возьмутся за руки и вместе предстанут перед величественным белым престолом. И да рассудит их Бог. Бог рассудит!

Перси Катферт закрыл глаза и погрузился в ледяной сон.

За тех, кто в пути!

– Лей больше!

– Послушай, Кид, уже достаточно, а не то будет слишком крепко! От виски со спиртом и так голова пойдет кругом, а если туда еще коньяк, перцовку и...

– Давай-давай, подливай смелее. Не жалея добра. В конце концов, кто из нас командует пуншем – ты или я? – Мэйлмют Кид добродушно улыбнулся сквозь клубы пара. – Когда поживешь здесь с мое на пеммикане да вяленой лососине, то поймешь, что Рождество наступает только раз в году. А Рождество без пунша – все равно что прииск без единой золотой песчинки.

– Верно говоришь, – одобрил великан Джим Белден. Он специально приехал со своей делянки в Мейси-Мей, чтобы встретить Рождество в веселой компании. Все знали, что вот уже два месяца Большой Джим не ел ничего, кроме оленины. – Наверное, не забыл пирушку, которую мы устроили для индейцев-танана?

– Разве такое забудешь? Да, парни, вот бы вам посмотреть, как все племя передралось спьяну! А секрет-то лишь в сахаре, славно перебродившем на закваске из кислого теста. Это еще до тебя случилось. – Мэйлмют Кид повернулся к Стэнли Принсу, молодому горному инженеру, проработавшему в северном краю всего два года. – Только представь: тогда в округе не было ни одной белой женщины, а Мейсону вдруг приспичило жениться, причем немедленно. Отец Рут – вождь народа танана – ужас как не хотел отдавать дочь белому человеку, да и племя отказывалось его принимать. Что тут сделаешь? Вот я и не пожалел последнего фунта сахара; да, в жизни не варил ничего ядренее. Видели бы вы, как индейцы гнались за нами по берегу реки и через переправу!

– Ну а что же сама скво? – поинтересовался Луи Савой, высокий француз из Канады. Слух о безрассудном демарше долетел до него еще прошлой зимой, на Сороковой миле.

Мэйлмют Кид – поэт в душе – поведал романтическую историю северного Лохинвара. Слушая неторопливый, подробный рассказ, суровые искатели приключений растрогались и затосковали по солнечным южным пастбищам, где жизнь обещала не только безнадежную борьбу с холодом и смертью.

– Юкон мы успели перейти, когда лед тронулся, – произнес Мэйлмют Кид. – А индейцы отстали на каких-то пятнадцать минут, не более. И вот эта четверть часа нас спасла: река окончательно вскрылась. А когда племя наконец добралось до Никлукуето, весь форт ждал гостей в полной боевой готовности. Ну а что касается самой свадьбы, об этом лучше спроси отца Рубо: он их венчал.

Монах-иезуит вытащил изо рта трубку и без слов – одной лишь благодушной патриархальной улыбкой – выразил абсолютное удовлетворение. Протестанты и католики дружно, одобрительно захлопали.

– Ей-богу! – воскликнул Луи Савой, глубоко тронутый современной версией старинной баллады. – Крошка скво и бесстрашный Мейсон! Ах, до чего же красиво!

Едва первые оловянные кружки с пуншем пошли по кругу, неугомонный Беттлз вскочил и грянул свою любимую застольную песню о пасторе Генри Бичере:

Учителей воскресной школы
Созвал священник наш веселый.
Завидная, брат, доля!
И после проповеди краткой
Налил гостям настойки сладкой.
Кто уличит в крамоле?
Но что в бутылке той, друзья?

Боюсь сказать вам правду я!
На все Господня воля!

– На все Господня воля! – жизнерадостно подхватил нестройный хор.

Волшебное зелье Мэйлмюта Кида подействовало благотворно: суровые, огрубевшие на морозе, немногословные парни с приисков смягчились, подобрали и разговорились. Со всех сторон понеслись шутки, песни, байки о прошлых и недавних приключениях.

Выходцы из дюжины разных стран праздновали Рождество вместе. Англичанин Стэнли Принс поднял тост за «дядю Сэма, родоначальника нового мира». Янки Том выпил за «королеву, да благословит ее Господь». Француз Луи Савой чокнулся с немецким торговцем Майерсом «за Эльзас-Лотарингию». Мэйлмют Кид встал с кружкой в руке, взглянул на затянутое промасленной бумагой, покрытое трехдюймовым слоем инея окошко и торжественно провозгласил:

– Пожелаем здоровья и удачи тем, кто в пути даже этой ночью! Пусть не оскудеют у них запасы, не ослабнут собаки, не отсыреют спички!

Все дружно подняли кружки, а в следующее мгновение услышали знакомую музыку хлыста, протяжный вой ездовых собак и скрип остановившихся возле хижины саней. Разговор стих в ожидании дальнейших событий.

– Сразу ясно, что прибыл бывалый погонщик. Сначала думает о собаках, а уже потом о себе, – прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам, шепотом пояснил Принсу Мэйлмют Кид. Щелканье челюстей, злобное рычание и жалобный визг поведали опытному уху, что хозяин кормит своих собак и отгоняет чужих.

А вскоре послышался громкий, решительный стук в дверь, и путник вошел. После мрака полярной ночи даже сальная лампа показалась слишком яркой. Он помедлил на пороге, привыкая к свету и позволяя рассмотреть себя. В северной меховой одежде незнакомец выглядел живописно и в то же время внушительно. Ростом за шесть футов, широкоплечий, с мощной грудью, порозовевшим от холода чисто выбритым лицом, покрытыми инеем длинными ресницами и густыми бровями, в огромной волчьей шапке с опущенными ушами он выглядел явившимся на праздник Дедом Морозом.

Из-за повязанного поверх меховой куртки широкого разноцветного пояса без стеснения выглядывали два «кольта» и охотничий нож. В руке, помимо обязательного хлыста, Дед Мороз держал бездымное ружье самого крупного калибра и новейшего образца. Немного освоившись, он шагнул в комнату. Несмотря на твердую, уверенную походку, движение выдавало накопившуюся усталость.

Повисло неловкое молчание, однако сердечное приветствие: «Парни, да у вас здесь тепло, светло и весело!» – сразу разрядило обстановку. Прошло не более минуты, прежде чем Мэйлмют Кид и гость обменялись крепкими рукопожатиями. Хотя встретились они впервые, каждый немало слышал о другом, так что взаимное узнавание не заставило себя ждать. Еще до того, как путник успел объяснить свои обстоятельства, все участники пирушки по очереди представились и снабдили новенького кружкой пунша.

– Давно проехала упряжка в восемь собак с тремя людьми? – спросил гость.

– Ровно два дня назад. Ты за ними гонишься?

– Да, это моя свора. Украли из-под самого носа, мерзавцы. Пару дней уже наверстал. Надеюсь, что на следующем перегоне поймаю.

– А если так просто не дадутся? – осведомился Джим Белден, чтобы поддержать разговор.

Мэйлмют Кид уже хозяйничал у печки: успел поставить на огонь кофейник, а теперь деловито жарил сало и оленину. Незнакомец многозначительно похлопал по револьверам.

– Когда выехал из Доусона?

– В двенадцать.

– Ночи? – зачем-то уточнил Джим Белден, хотя и так все было ясно.

– Нет, дня.

Комната наполнилась удивленным гулом: полночь только что наступила – значит, за двенадцать часов парень умудрился преодолеть семьдесят пять миль по замерзшей, покрытой ледяными торосами реке.

Вскоре разговор перешел на общие темы: в основном вспоминали детство. Пока молодой путник ел грубую, но сытную пищу, Мэйлмют Кид внимательно рассматривал гостя. Открытое честное красивое лицо сразу вызывало симпатию – тем более что трудности северной жизни уже оставили на лбу и возле губ очевидные, легко узнаваемые следы. Веселые в дружеской беседе и мягкие в минуты покоя голубые глаза таили в глубине стальной блеск, готовый проявиться в нужный момент – особенно во время схватки. Тяжелая челюсть и квадратный подбородок свидетельствовали о непреклонном упрямстве и необузданном нраве. Однако наряду с мужественной суровостью в лице путника проглядывала почти женственная мягкость, выдававшая чуткую, нежную душу.

– Так мы с моей Сэл и сошлись, – улыбнулся Джим Белден, завершая забавную историю собственного сватовства. – «Вот и мы, папа», – сказала она. «Катитесь ко всем чертям! – прорычал отец и добавил: – А ты, Джим, побыстрее снимай парадные портки да принимайся за работу: к обеду надо вспахать половину вон того поля в сорок акров». А потом вдруг всхлипнул и поцеловал дочь. Я-то обрадовался! Но он заметил и как закричит: «А ну, Джим, пошевеливайся!» Я кубарем покатился на конюшню.

– А у тебя детишки-то остались в Штатах? – спросил путник.

– Нет. Сэл умерла, так и не успев родить. Поэтому я здесь и оказался. – Джим Белден принялся сосредоточенно раскуривать трубку, а потом спросил, не без труда загнав боль в дальний угол души – туда, где она обычно пряталась: – А сам-то ты женат?

Вместо ответа путник снял с заменявшего цепочку ремня карманные часы, открыл и протянул. Джим Белден взял со стола солевую лампу, поднес поближе, внимательно рассмотрел то, что находилось на внутренней стороне крышки, и с восхищенным бормотанием передал часы Луи Саваю.

– Вот это да! – несколько раз воскликнул тот и протянул часы Стэнли Принсу.

Все заметили, что руки француза дрожат, а глаза подозрительно блестят. Так и переходила из одних мозолистых ладоней в другие небольшая фотокарточка нежной доверчивой женщины с младенцем на руках. О подобной семье тайно мечтают все сильные мужчины. Тот, кто еще не успел приобщиться к чуду, сторгал от нетерпения, а каждый, кто увидел чистый образ, замолчал и задумался. Суровые люди не боялись голода и холода, вспышек цинги, даже смерти в бою или от удара стихии, но в эту минуту образ незнакомой женщины с ребенком совершил чудо, превратив каждого немного в женщину и немного в ребенка.

– Еще ни разу не видел сына. Знаю только из писем жены, а ведь мальчишке уже два года, – вздохнул путник, когда сокровище прошло по кругу и вернулось к хозяину. Он долго смотрел на фото, а потом резко захлопнул крышку и отвернулся, – впрочем, недостаточно быстро, чтобы скрыть подступившие слезы.

Мэйлмют Кид подвел гостя к койке и предложил прилечь.

– Разбуди ровно в четыре. Не позднее! – потребовал путник и сразу провалился в глубокий, тяжелый сон.

– Ничего себе! Крепкий парень! – восхитился Стэнли Принс. – Чуть более трех часов сна после семидесяти пяти миль с собаками, и снова в путь. Кто он такой, Кид? Ты же наверняка знаешь.

– Джек Уэстондейл. Уже три года здесь. Работает как зверь и едва успевает разгрести неприятности. Сам вижу его впервые, но много слышал от Чарли из Ситки. Наверное, нелегко

человеку с красивой молодой женой гробить жизнь в этой забытой Богом дыре, где год идет за два, но парень крепок духом и по-настоящему упрям. Дважды хорошо зарабатывал на ставках и оба раза все терял.

Разговор утонул в разудалых криках Беттлза; нежные чувства постепенно улеглись, и вскоре мрачные годы скудной еды и изнуряющего труда забылись в буйном веселье. Один лишь Мэйлмют Кид сохранил ясность мысли. Часто и нервно поглядывая на часы, надел рукавицы, бобровую шапку и отправился в кладовку.

Назначенного времени он так и не дождался: разбудил постояльца на пятнадцать минут раньше. Молодой великан неохотно проснулся, растер ноги и, с трудом поднявшись, тяжело вышел из хижины. Уже все было готово в дорогу: даже собаки запряжены. Новые приятели пожелали удачи и быстрой погони, а отец Рубо торопливо благословил на дорожку и первым поспешил вернуться в тепло. Ничего удивительного: нелегко стоять на морозе в семьдесят четыре градуса без шапки и с голыми руками.

Один лишь Мэйлмют Кид проводил одинокого путника до колеи. Снова крепко пожал руку – теперь уже на прощание – и не поскупился на советы:

– Найдешь в санях сотню фунтов лососевой икры. Собаки продержатся на ней в полтора раза дольше, чем на рыбе. Если надеялся раздобыть собачий провиант в Пелли, то напрасно: там ничего не купишь.

Чужак вздрогнул, глаза сверкнули, однако, не желая перебивать, промолчал.

– Пока не доедешь до Файф-Фингерз, не найдешь еды ни себе, ни собакам, а это еще целых двести миль пути. На Тридцатимильной реке остерегайся: там есть полыньи. Да, и еще сократи путь вокруг озера Ле-Барж. Поезжай напрямую.

– Как ты узнал? Не могли же слухи опередить меня?

– Ничего не знаю, а главное, не хочу знать. Вот только та упряжка, за которой гонишься, тебе не принадлежала: Чарли из Ситки продал ее этим людям прошлой весной, – но сказал, что ты честный парень, а я ему верю. Да и лицо твое видел. Хорошее лицо. А еще... черт возьми, спешу к океану и скорее возвращайся к жене и сыну. Вот возьми. – Мэйлмют Кид снял рукавицу и вытащил из-за пазухи мешочек с золотым песком.

– Нет, спасибо. Это лишнее. – Великан судорожно сжал руку нового друга, на щеках замерзли слезы.

– Тогда не жалей собак. Слабых сразу отрезай и бросай. Покупай новых. Они сейчас дешевы: по десять долларов за фунт живого веса. Продают в Файф-Фингерз, на Литл-Салмон и в Хуталинке. А главное, береги ноги. Если мороз начнет крепчать, непременно разведи костер, согрейся и смени носки.

Великан уехал, а уже через четверть часа звон колокольчиков возвестил о новых гостях. Дверь распахнулась, и вошел офицер королевской полиции Северо-Западных территорий, а следом за ним показались два метиса-погонщика. Подобно Джеку Уэстондейлу все эти люди были надежно вооружены и сильно утомлены. Метисы, с детства привыкшие к северным дорогам, переносили лишения без особого труда, а вот молодой полицейский выглядел изнуренным. И все же свойственное его народу непоколебимое упрямство гнало вперед до последнего вздоха.

– Когда уехал Уэстондейл? – строго спросил офицер. – Он здесь останавливался, верно? Впрочем, вопросы могли показаться лишними, ведь следы на снегу ничего не скрывали.

Мэйлмют Кид мельком взглянул на Джима Белдена. Тот сразу сообразил, в чем дело, и уклончиво произнес:

– Да уже изрядно как.

– Точнее, – настойчиво потребовал полицейский.

– Похоже, уж очень он вам нужен. Вот только зачем? Натворил что-нибудь в Доусоне?

– Обчистил Гарри Макфарленда на сорок тысяч, а в конторе Тихоокеанской компании обменял золото на чек, чтобы получить деньги в Сиэтле. Если не успеем перехватить, наверняка завершит свое грязное дело. Когда все-таки он проехал?

По едва заметному знаку Мэйлмюта Кида присутствующие подавили возбуждение и любопытство, и молодой полицейский увидел вокруг постные, ничего не выражающие лица. Он подошел к Стэнли Принсу и обратился с тем же вопросом. С болью глядя в честные серьезные глаза соотечественника, англичанин тем не менее пробормотал что-то невнятное. Офицер повернулся к отцу Рубо. Священник солгать не смог.

– Четверть часа назад, – потупившись, тихо ответил он. – А до этого почти четыре часа проспал сам и дал отдохнуть собакам.

– Целых пятнадцать минут, да со свежими силами! Боже мой! – Несчастный служитель закона ошеломленно замер, едва не теряя сознание от изнеможения и разочарования и жалобно бормоча что-то о десятичасовом броске из Доусона и усталости собак.

Мэйлмют Кид протянул офицеру кружку пунша. Тот залпом осушил ее и повернулся к погонщикам с приказом немедленно продолжить путь, однако свет, тепло и хотя бы недолгий отдых были настолько заманчивыми, что метисы наотрез отказались подчиниться. Мэйлмют Кид понимал их наречие и слушал, не пропуская ни слова. Оба клялись, что собаки выбились из сил: Сиваша и Бабетту придется пристрелить уже на первой миле, остальные тоже едва держатся, – все нуждаются в отдыхе.

– Уступишь пять собак? – обратился офицер к Киду.

Тот покачал головой.

– Выпишу тебе чек на имя капитана Констэнтайна. Получишь пять тысяч, вот мои документы. Уполномочен действовать по собственному усмотрению.

Снова молчаливый отказ.

– В таком случае конфискую именем королевы!

Усмехнувшись, Мэйлмют Кид взглянул в угол, где стояли ружья. Англичанин сразу понял, на чьей стороне сила, и повернулся к двери. Однако погонщики явно не спешили в дорогу. Заметив неповиновение, офицер обратился к ним с проклятиями и бранью, обзывая трусливыми бабами. Смуглое лицо старшего из метисов вспыхнуло гневом. Он встал и в четких, недвусмысленных выражениях пообещал, что загонит головную собаку, а когда та свалится, с удовольствием пристрелит ее.

Молодой полицейский собрал остатки сил и с показной бодростью, твердым шагом направился к двери. Все поняли и по достоинству оценили гордое англо-саксонское упрямство, тем более что на усталом лице отразилось мучительное унижение. Тесно прижавшись друг к другу, заиндевелившие хаски лежали в снегу и наотрез отказывались вставать. Обозленные погонщики принялись жестоко стегать хлыстами направо и налево, однако тронуться с места им удалось, лишь обрезав постромки ведущей собаки.

– Лжец! Негодяй! Вор! Хуже индейца! – раздавались со всех сторон возмущенные возгласы, едва за офицером закрылась дверь.

Люди негодовали: Джек Уэстондейл бесцеремонно обманул, сыграв на лучших чувствах и нарушив священное правило Севера, гласившее, что главное достоинство человека – честность.

– И мы еще помогли мерзавцу! Знать бы раньше, что он за птица!

Укоризненные взгляды сосредоточились на Мэйлмюте Киде. Тот вышел из угла, где устраивал на отдых изможденную Бабетту, и молча разлил по кружкам остатки пунша.

– Сегодня холодная ночь, ребята. Жутко холодная. Вы знаете, что такое зимний путь. Знаете, что невозможно поднять собаку, если та выбилась из сил и упала на снег. Вы услышали только одну половину истории. Тот, кто ее поведал, никогда не ел с нами из одного котла и не укрывался одним одеялом. Прошлой осенью Джек Уэстондейл отдал все свои деньги – сорок

тысяч – Джо Кастреллу, чтобы тот вложил их в выгодные, надежные канадские акции. Сейчас бы уже стал миллионером. Но пока медлил в Серкле, ухаживая за больным цингой товарищем, что сделал Джо Кастрелл? Пошел к Макфарленду играть в карты и спустил все сорок тысяч, до последнего цента. Утром его нашли на снегу мертвым. А ведь бедняга Джек мечтал уже этой зимой завершить северные дела и вернуться домой – к жене и сынишке, которого еще не видел. Так вот, у Макфарленда он забрал ровно столько, сколько просадил подлец компаньон: сорок тысяч, ни центом более. Вернул свои кровные денежки и вышел из игры. Кто-нибудь возьмется судить человека за подобный поступок?

Мэйлмют Кид внимательно посмотрел на присутствующих, увидел, что лица их смягчились, посветлели, и поднял кружку.

– Так пожелаем же здоровья тому, кто этой ночью в пути. Пусть не оскудеют у него запасы. Не ослабнут собаки. Не отсыреют спички.

– Да хранит его Господь! Да пребудет с ним удача! А королевская полиция пусть катится своей дорогой! – торжествующе заключил Том Беттлз под стук пустых кружек.

По праву священника

Это рассказ о мужчине, который не умел ценить свою жену по достоинству, и о женщине, которая оказала ему слишком большую честь, когда назвала его своим мужем. В рассказе также участвует католический священник-миссионер, который славился тем, что никогда не лгал. Священник этот был неотделим от Юконского края, сросся с ним, те же двое оказались там случайно. Они принадлежали к той породе чудаков и бродяг, из которых одни взмывают вверх на волне «золотой лихорадки», а другие плетутся у нее в хвосте.

Эдвин и Грейс Бентам были из тех, что плелись в хвосте; клондайкская «золотая лихорадка» 97-го года уже давно спала: прокатилась над могучей рекой и улеглась в голодном Доусоне. Юкон «славно поработав», уснул под толстой, в три фута, ледяной простыней, а наши путники только успели добраться до порогов Файф-Фингерз, откуда до «золотого города» оставалось еще много дней пути – и все на север!

Осенью здесь забивали скот в большом количестве, и после этого осталась порядочная куча мясных отбросов. Трое спутников Эдвина Бентама и его жены, поглядев на кучу и наскоро прикинув кое-что в уме, почуяли возможность наживы и решили остаться. Всю зиму торговали они морожеными шкурами и костями, сбывая их владельцам собачьих упряжек. Они запрашивали скромную цену: всего лишь по доллару за фунт (разумеется, без выбора), – а через шесть месяцев, когда возвратилось солнце и Юкон проснулся, надели пояса, тяжелые от зашитого в них золотого песка, и пустились домой, в Южную Страну. Там они проживают и по сию пору, рассказывая всем о чудесах Клондайка, которого и в глаза не видывали.

Эдвин Бентам, лодырь по призванию, уж, верно, принял бы участие в мясной спекуляции, если б не его жена. Играя на тщеславии мужа, она внушила ему, что он принадлежит к тем незаурядным и сильным личностям, которым дано преодолеть все препятствия и добыть золотое руно. Почувствовав себя и в самом деле молодцом, он обменял свою долю костей и шкур на собаку с нартами и повернул лыжи на север. Само собой разумеется, Грейс Бентам не отставала от него ни на шаг; больше того: уже после трех дней сурового пути они поменялись местами – женщина шла впереди, а мужчина – за ней следом по готовой лыжне. Конечно, стоило кому-нибудь показаться на горизонте, как порядок восстанавливался: мужчина шел впереди, женщина сзади. Таким образом, перед путниками, которые появлялись и исчезали как привидения, на безмолвной тропе он сохранял свое мужское достоинство незапятнанным. Бывают и такие мужчины на свете!

Для нашего рассказа нет нужды углубляться в причины, побудившие этих двух людей произнести перед алтарем торжественные клятвы. Достаточно того, что в жизни так бывает, а если мы будем слишком докапываться до сути подобных явлений, то рискуем потерять нашу чудесную веру в то, что принято называть целесообразностью всего сущего.

Эдвин Бентам был мальчик, по какой-то оплошности природы наделенный наружностью взрослого мужчины: такие обычно с наслаждением терзают бабочек, прилежно обрывая им крылышки, и трясутся от страха, завидев какого-нибудь юркого смельчака мальчишку, хотя бы и совсем малыша. За мужественными усами и статной фигурой, под поверхностным лоском культуры и светских манер скрывался эгоист и слюнтяй. Разумеется, он был принят в обществе, состоял в различных клубах; он был из тех, что оживляют своим присутствием светские рауты и с неподражаемым жаром произносят очаровательные пошлости; из тех, что говорят громкие слова и хнычут от зубной боли; из тех, что, женившись на женщине, доставляют ей больше мук и страданий, чем самые коварные соблазнитель и охотники до запретных наслаждений. Таких людей мы встречаем чуть ли не каждый день, но редко догадываемся об их подлинной сущности. Лучший способ (не считая брака) раскусить такого человека – это есть с ним из одного котла и укрываться одним одеялом в течение, скажем, недели – срок вполне достаточный.

В Грейс Бентам прежде всего поражала девическая стройность, а при более близком знакомстве перед вами раскрывалась душа, рядом с которой ваша собственная начинала казаться ничтожной и мелкой и которая вместе с тем была наделена всеми элементами вечной женственности. Такова была женщина, которая вдохновляла и ободряла своего мужа в его походе на Север, прокладывая ему дорогу, когда никто не видел, и втихомолку плача оттого, что она женщина и что ей не дано больше сил.

Так прошли эти столь несходные между собой люди весь путь до старого форта Селкерк и дальше – все сто миль унылой снежной пустыни до реки Стюарт. И вот на исходе короткого дня, когда мужчина бросился в снег и захныкал как ребенок, женщина привязала его к нартам и, закусив губу от боли, помогла собаке дотащить его до хижины Мэйлмюта Кида. Хозяина не было дома, но оказавшийся там скупщик, немец Майерс, поджарил им огромные отбивные котлеты из оленины и приготовил постель из свежих сосновых ветвей.

Лейк, Ленгам и Паркер находились в большом волнении, да и было от чего.

– Эй, Сэнди! Послушай, ты можешь отличить филе от вырезки? Да иди же сюда, помоги мне!

Этот вопль о помощи исходил из кладовой позади хижины, где Ленгам безуспешно сражался с мороженой лосиной тушей.

– А я говорю: занимайся посудой, и ни с места! – скомандовал Паркер.

– Послушай, Сэнди, будь другом, сбегай в поселок Миссури и займи у кого-нибудь корицы! – взывал Лейк.

– Скорей, скорей! Да что же ты...

Но тут в кладовке с грохотом посыпались ящики и куски мороженого мяса, заглушив отчаянный призыв Ленгама.

– Послушай, Сэнди, что тебе стоит добежать до Миссури?..

– Оставь его, – перебил Паркер. – Не могу же я месить тесто для лепешек, когда со стола не убрано!

Постояв с минуту в нерешительности, Сэнди вдруг сообразил, что он «человек» Ленгама, с виноватым видом бросил засаленное полотенце и поспешил к своему хозяину на выручку.

Эти многообещающие отпрыски богатых родителей устремились в Северную Страну за славой, предварительно набив себе карманы деньгами и прихватив каждый своего «человека» для услуг. Два других «человека», к счастью для себя, находились в отлучке: их послали к верховьям Уайт-Ривер на розыски каких-то мифических залежей золотоносного кварца, – поэтому Сэнди приходилось обслуживать трех дюжих молодцов, из которых каждый считал себя специалистом в области кулинарии. Уже дважды в это утро казалось, что вся компания распадется, однако разрыва удалось избежать благодаря тому, что каждый из трех рыцарей кастрюльки согласился пойти на уступки. Наконец изысканный обед, плод коллективных усилий, был готов. Джентльмены, чтобы устранить возможность недоразумений в будущем, уселись втроем играть в «разбойника»: победитель снаряжался в весьма ответственную командировку.

Это счастье выпало на долю Паркера. Расчесав волосы на прямой пробор, натянув рукавицы и надев шапку из медвежьего меха, он отправился к жилищу Мэйлмюта Кида. Вернулся же он оттуда в сопровождении Грейс Бентам и самого Мэйлмюта Кида. Грейс Бентам выразила свои сожаления по поводу того, что ее муж не может насладиться их гостеприимством, так как отправился осматривать россыпь у ручья Гендерсона; Мэйлмют Кид еле волочил ноги: он только что вернулся из похода по снежной целине вдоль реки Стюарт. Майерс отказался от приглашения, так как был поглощен новым экспериментом: пытался заквасить тесто с помощью хмеля.

Ну что ж, с отсутствием мужа они могли примириться, тем более что женщина... Они не видели ни одной женщины целую зиму, и появление Грейс Бентам предвещало новую эпоху в их жизни. Молодые люди в свое время окончили колледж, были настоящими джентльменами, и сейчас все трое тосковали по удовольствиям, которых так долго были лишены. Грейс Бентам и сама, вероятно, испытывала такую же тоску: так или иначе, это была первая светлая минута после многих беспробудных недель.

Но только поставили на стол знаменитое блюдо, творение рук искусника Лейка, как раздался громкий стук в дверь.

– О! Мистер Бентам! Заходите, пожалуйста! – сказал Паркер, вышедший к дверям, чтоб посмотреть, кто пришел.

– Моя жена у вас? – грубо оборвал его гость.

– Здесь, здесь! Мы просили Майерса передать, что ждем вас. – Озадаченный странным поведением гостя, Паркер пустил в ход свои самые бархатные интонации. – Что же вы не заходите? Мы так и ждали, что вы вот-вот появитесь, и поставили для вас прибор. Вы как раз успели к первому блюду.

– Проходи же, милый Эдвин, – прошептала Грейс Бентам из-за стола.

Паркер посторонился, чтобы пропустить гостя.

– Я пришел за своей женой, – повторил Бентам. В его хриплом голосе слышались неприятные нотки убежденного собственника.

Паркер оторопел. С трудом удержавшись, чтобы не съездить невеже по физиономии, он так и застыл в неловкой позе. Все встали. Лейк совсем растерялся и чуть было не спросил Грейс: «Может быть, останетесь все-таки?»

Потом поднялся прощальный гул: «Очень любезно с вашей стороны...», «Как жаль...», «Ей-богу, с вами как-то веселее стало...», «Нет, право... я вам очень, очень благодарна...», «Счастливо добраться до Доусона» – и все в таком роде.

Под аккомпанемент этих слов жертву закутали в меховую куртку и повели на заклание. Дверь захлопнулась, и трое хозяев грустно уставились на покинутый гостями стол.

– Ч-черт! – В воспитании Ленгама имелись значительные пробелы, вследствие чего его лексикон был однообразен и невыразителен. – Черт, – повторил он, смущенно сознавая все несовершенство этого возгласа и тщетно пытаясь припомнить какое-нибудь более крепкое выражение.

Только умная женщина способна восполнить своими достоинствами многочисленные недостатки ничем не одаренного мужчины, своей железной волей поддержать его нерешительную натуру, вдохнуть в его душу свое честолюбие и подвигнуть его на великие дела. И только очень умная и очень тактичная женщина может проявить при этом столько тонкости, чтобы мужчина, пожиная плоды ее усилий, поверил, что достиг всего сам, своими трудами.

Этого как раз и добивалась Грейс Бентам. Не имея за душой ничего, кроме нескольких фунтов муки да двух-трех рекомендательных писем, она тотчас по прибытии в Доусон принялась усердно выталкивать своего большого младенца на авансцену. Это она растопила каменное сердце грубого невежи, который вершил судьбами в Тихоокеанской компании, и добилась у него кредита в счет будущих удач, однако все документы были оформлены на имя Эдвина Бентама. Это она таскала своего младенца по руслам рек, с одной отмели на другую, заставляя проделывать головокружительные походы по скалистым берегам и горным кряжам, однако все говорили: «Что за энергичный малый этот Бентам!» Это она изучала местность по картам и беседовала с приисковыми старожилами и потом вбивала географические и топографические сведения в его пустую башку, а люди удивлялись тому, как быстро и досконально он узнал край со всеми его особенностями. «Конечно, – говорили они, – жена у него тоже молодчина». И лишь немногие, раскусив, в чем дело, жалели ее и воздавали ей должное.

Вся работа ложилась на Грейс; все награды и похвалы доставались Эдвину. На Северо-Западной территории замужняя женщина не имеет права делать заявку или записывать на свое имя участок, будь то отмель, россыпь или кварцевая жила, поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти самому к уполномоченному по золоту и оформить заявку на 23-й горный участок, Французский холм, второй ряд. А к апрелю они уже намывали золота на тысячу долларов в день, и таким дням не видно было конца.

У подножия Французского холма протекал ручей Эльдорадо, и на одном из прибрежных участков стояла хижина Клайда Уортона. Пока еще он не намывал на тысячу долларов в день, но отвалы у него росли с каждым часом и близилось время, когда в течение одной короткой недели в его желобах должны были осесть сотни тысяч долларов. Он часто сидел у себя в хижине, попыхивая трубкой и предаваясь чудесным грезам (а грезил он отнюдь не об отвалах, ни даже о полутонне золотого песка, хранившегося в громадном сейфе Тихоокеанской компании).

Между тем в хижине на склоне холма Грейс Бентам мыла свою оловянную посуду и, поглядывая на участок под горой, тоже мечтала и тоже отнюдь не об отвалах и не о золотом песке. Эти двое то и дело попадались друг другу навстречу, и неудивительно: ведь тропинки, которые вели на их участки, пересекались, а кроме того, в северной весне есть что-то такое, что располагает людей к общению друг с другом. Однако ни единым взглядом, ни единой обмолвкой не позволили они себе обнаружить то, чем были переполнены их сердца.

Так было вначале. Но вот однажды Эдвин Бентам поднял руку на жену. Все мальчишки таковы: сделавшись одним из королей Французского холма, он возомнил о себе и позабыл все, чем был обязан своей жене. Узнав об этом в тот же день, Уортон подстерег Грейс Бентам на тропинке и обратился к ней с несвязной, но горячей речью. Она была очень счастлива, хоть и не стала его слушать, и взяла с него обещание никогда не говорить ей подобных глупостей. Ее время еще не пришло.

Но вот солнце пустилось в обратный путь на север, полночный мрак сменился стальным блеском рассвета, снег начал таять, через заледеневшие пороги вновь хлынула вода, и старатели приступили к промывке. Желтая глина и куски горной породы дни и ночи напролет проходили по круто наклоненным желобам, оставляя щедрую награду сильным людям из Южной Страны. В эту-то горячую пору и пробил час для Грейс Бентам.

Этот час наступает в жизни каждого мало-мальски живого человека. Иные ведь безгрешны не оттого, что так уж дорожат добродетелью, а просто по лени. Те же из нас, кому приходилось поддаваться искушению, знают, что это такое.

В то время как Эдвин Бентам стоял у стойки бара в Форксе и глядел на весы, на которых лежал его мешочек с золотым песком – увы, сколько этого песка перекочевало уже через сосновую стойку! – Грейс Бентам спустилась с холма и проскользнула в хижину Клайда Уортона. Ждал ее Уортон в этот час или нет, не все ли равно? А вот если бы отец Рубо не увидел ее и не свернул в сторону с главной тропы, можно было бы избежать многих ненужных мучений и долгих месяцев томительного ожидания.

– Дитя мое...

– Погодите, отец Рубо! Я уважаю вас, хоть и не придерживаюсь вашей веры. Но я не позволю вам встать между этой женщиной и мной.

– Вы понимаете, на что идете?

– Понимаю ли я? Да если бы сам всемогущий Господь Бог явился ко мне вместо вас, чтобы ввергнуть в геенну огненную, я бы не отступил ни на шаг!

Уортон усадил Грейс на табурет, сам встал подле нее в воинственной позе и обратился к священнику:

– Сядьте вон на тот стул и молчите. Сейчас моя очередь, а следующий ход будет ваш.

Отец Рубо вежливо поклонился и сел, поскольку был человек уступчивый и умел ждать. Придвинув себе другой табурет, Уортон сел рядом с Грейс и стиснул ее руку в своей.

– Так ты любишь меня? Правда? И ты увезешь меня отсюда?

По лицу ее было видно, что ей хорошо и покойно с ним, что она наконец обрела приют и защиту.

– Ну конечно же, дорогая! Или ты забыла, что я тебе говорил?

– Но разве это возможно? Как же промывка?

– Стану я думать о промывке! Да я могу поручить это дело хотя бы вот отцу Рубо! Я могу попросить его доставить золотой песок компании.

– И я его больше никогда не увижу!

– Какая потеря!

– Уехать... Нет, Клайд, я не могу! Не могу, понимаешь?

– Ну, успокойся же, милая! Конечно же, уедем. Положись во всем на меня. Вот только соберем кой-какие пожитки и сейчас же отправимся...

– А если он сюда придет?

– Я переломаяю ему все...

– Нет-нет, Клайд! Пожалуйста, без драки! Обещай же мне...

– Ну ладно. Я просто скажу рабочим, чтобы его выкинули с моего участка. Они видели, как он обходится с тобой, и сами не слишком-то любят его.

– Ах нет, только не это! Не причиняй ему боли!

– Что же ты хочешь? Чтобы я спокойно смотрел, как он тебя уведет?

– Н-нет, – сказала она полупшепотом, нежно поглаживая его руку.

– Тогда предоставь действовать мне и ни о чем не беспокойся. Он останется цел, ручаюсь тебе! Он-то небось не задумывался, больно тебе или нет! В Доусон нам заезжать незачем: я дам туда знать, и кто-нибудь снарядит для нас лодку и пригонит вверх по Юкону. А мы тем временем перевалим через кряж и спустимся на плотках по Индейской реке, навстречу им. Потом...

– Что ж потом?

Ее голова лежала у него на плече. Их голоса замирали, каждое слово было лаской. Священник начал беспокойно ерзать на стуле.

– А потом? – повторила она.

– Что же потом? Будем плыть вверх, вверх по течению, затем волоком через пороги Уайтхорс и Ящичное ущелье.

– А дальше?

– Дальше по реке Шестидесятимильной, потом пойдут озера, Чилкут, Дайя, а там – и Соленая Вода.

– Но, милый, я ведь не умею управляться с багром...

– Глупенькая! Мы возьмем с собой Ситку Чарли: он знает, где пройдет лодка и где устроить привал, к тому же это лучший попутчик, какого я знаю, даром что индеец. От тебя требуется лишь одно – сидеть в лодке, петь песни и разыгрывать Клеопатру да еще сражаться с крылатыми полчищами... Впрочем, нет, нам ведь повезло: комаров еще нет.

– Дальше, дальше что, о, мой Антоний?

– А дальше – пароход, Сан-Франциско и весь белый свет! И мы больше никогда не вернемся в эту распроклятую дыру. Только подумай! Весь мир к нашим услугам – поезжай куда хочешь! Я продам свою долю. Да знаешь ли ты, что мы богаты? Уолдвортский синдикат даст полмиллиона за мой участок, да у меня еще вдвое больше этого в сейфе Тихоокеанской компании и в отвалах. В тысяча девятисотом году мы с тобой съездим в Париж, на всемирную выставку. Мы можем поехать даже в Иерусалим, если ты только пожелаешь. Мы купим итальянское палаццо, и ты можешь там разыгрывать Клеопатру сколько твоей душе будет угодно.

Нет, ты у меня будешь Лукрецией, Актеей, кем тебе только захочется, моя дорогая! Только смотри не вздумай...

– Жена Цезаря должна быть выше подозрений!

– Разумеется, но...

– Но я не буду твоей женой, мой милый, да?

– Я не это хотел сказать.

– Но ты ведь будешь меня любить как жену, и никогда, никогда... Ах, я знаю, ты окажешься таким же, как все мужчины. Я тебе надоем, и... и...

– Как не стыдно! Я...

– Обещай мне!

– Да! Да! Я обещаю!

– Ты так легко это говоришь, мой милый. Откуда ты знаешь? А я? Я так мало могу тебе дать, но это так много! Ах, Клайд! Обещай же, что ты не разлюбишь меня!

– Ну вот! Что-то ты рано начинаешь сомневаться. Сказано же: «Пока смерть не разлучит нас».

– Подумать только – эти самые слова я когда-то говорила... ему, а теперь...

– А теперь, мое солнышко, ты не должна больше об этом думать. Конечно же, я никогда-никогда...

Тут впервые их губы затрепетали в поцелуе. Отец Рубо, который все это время внимательно глядел в окно на дорогу, наконец не выдержал: кашлянул и повернулся к ним.

– Ваше слово, святой отец!

Лицо Уортона пылало огнем первого поцелуя. В голосе его, когда он уступил свое место, звенели нотки торжества. Он ни на минуту не сомневался в исходе. Не сомневалась и Грейс – это было видно по улыбке, сиявшей на ее лице, когда она повернулась к священнику.

– Дитя мое, – начал священник, – сердце мое обливается кровью за вас. Ваша мечта прекрасна, но ей не суждено сбыться.

– Почему же нет, святой отец? Я ведь дала свое согласие.

– По неведению, дитя мое! Вы не подумали о клятве, которую произнесли перед лицом Господа Бога, о клятве, которую вы дали тому, кого назвали своим мужем. Мой долг – напомнить вам о святости этой клятвы.

– А если я, сознавая всю святость клятвы, все равно намерена ее нарушить?

– Тогда Бог...

– Который? У моего мужа свой бог, и этого бога я не желаю почитать. И, верно, таких богов немало.

– Дитя! Возьмите назад ваши слова! Ведь вы не хотели это сказать, правда? Я все понимаю. Мне самому пришлось пережить нечто подобное... – На мгновение священник перенесся в свою родную Францию, и образ другой женщины, с печальным лицом и глазами, исполненными тоски, заслонил ту, что сидела перед ним на табурете.

– Отец мой, неужели Господь покинул меня? Чем я грешней других? Я столько горя вынесла с моим мужем; неужели и дальше страдать? Неужели я не имею права на крупицу счастья? Я не могу... не хочу возвращаться к нему!

– Не Бог тебя покинул, а ты покинула Бога. Возвратись. Возложи свое бремя на него, и тьма рассеется. О, дитя мое!..

– Нет, нет! Все это уже бесполезно. Я вступила на новый путь и уже не поверну обратно, что бы ни ожидало меня впереди. А если Бог покарает меня, пусть, я готова. Где вам понять меня? Ведь вы не женщина.

– Мать моя была женщиной.

– Да, но...

– Христос родился от женщины.

Она ничего не ответила. Воцарилось молчание. Уортон нетерпеливо подергивал ус, не спуская глаз с дороги. Грейс облокотилась на стол, и лицо ее выражало решимость. Улыбка пропала. Отец Рубо решил испробовать другой путь.

– У вас есть дети?

– Ах как я мечтала о них когда-то! Теперь же... Нет, у меня нет детей, и слава богу.

– А мать?

– Мать есть.

– Она вас любит?

– Да, – проговорила она едва слышно.

– А брат?.. Впрочем, это не важно, он мужчина. Сестра есть?

Дрожащим голосом, опустив голову, она произнесла:

– Да.

– Моложе вас? На много?

– На семь лет.

– Хорошенько ли вы взвесили все? Подумали о них: о матери, о сестре? Она стоит на самом пороге своей женской судьбы, и этот ваш опрометчивый поступок может роковым образом сказаться на ее жизни. Хватит ли у вас духа прийти к ней, посмотреть на ее свежее юное личико, взять ее руку в свою, прижаться щекой к ее щеке?

Слова священника вызвали рой ярких образов в ее сознании.

– Не надо, не надо! – закричала Грейс, съжившись, как собака, над которой занесли плеть.

– Рано или поздно вам придется взглянуть правде в лицо. Зачем же откладывать?

В глазах его светилось сострадание, но их она не видела; лицо же его, напряженное, нервно подергивающееся, выражало непреклонность. Взяв себя в руки и с трудом удерживая слезы, она подняла голову.

– Я уеду. Они меня больше никогда не увидят и со временем забудут. Я сделаюсь для них все равно что мертвая... И... и я уеду с Клайдом... сегодня же...

Казалось, это был ее окончательный ответ. Уортон шагнул было к ним, но священник остановил его движением руки.

– Вы хотели иметь детей?

Молчаливый кивок.

– Вы молились о том, чтобы у вас были дети?

– Не раз.

– А сейчас вы подумали, что будет, если у вас появятся дети?

Отец Рубо бросил взгляд на мужчину, стоящего у окна.

Лицо женщины озарилось радостью, но в ту же минуту она поняла, что означал этот вопрос. Она подняла руку, как бы моля о пощаде, но священник продолжил:

– Представьте, что вы прижимаете к груди невинного младенца. Мальчика! К девочкам свет менее жесток. Да ведь самое молоко в вашей груди обратится в желчь! Как вам гордиться, как радоваться на сына, когда другие дети...

– О, пощадите! Довольно!

– За грехи родителей...

– Довольно! Я вернусь! – Она припала к ногам священника.

– Ребенок будет расти, не ведая зла, покуда в один прекрасный день ему не швырнут в лицо страшное слово...

– Господи! О господи!

Женщина в отчаянии опустилась на колени, и священник со вздохом поднял ее. Уортон хотел было подойти к ней, но она замахала на него рукой.

– Не подходи ко мне, Клайд! Я возвращаюсь к мужу!

Слезы так и струились по ее щекам, но она не пыталась вытирать их.

– После всего, что было? Ты не смеешь! Я не пушу тебя!

– Не трогай меня! – крикнула Грейс, отстраняясь и дрожа всем телом.

– Нет, ты моя! Слышишь? Моя!

Он резко повернулся к священнику.

– Какой же я дурак, что позволил вам читать тут проповеди! Благодарите Бога, что на вас священный сан, а не то бы я... Да-да, я знаю, вы скажете: право священника... Ну что ж, вы воспользовались им. А теперь убирайтесь подобра-поздорову, пока я не забыл, кто вы и что вы!

Отец Рубо поклонился, взял женщину за руку и направился с ней к дверям, но Уортон загородил им дорогу.

– Грейс! Ты ведь говорила, что любишь меня!

– Говорила.

– А сейчас ты любишь меня?

– Люблю.

– Повтори еще раз!

– Я люблю тебя, Клайд, люблю!

– Слышал, священник? – воскликнул Уортон. – Ты слышал, что она сказала, и все же посылаешь ее с этими словами на устах обратно к мужу, где ее ждет ад, где ей придется лгать всякую минуту своей жизни!

Отец Рубо вдруг втолкнул женщину во внутреннюю комнату и прикрыл за ней дверь.

– Ни слова! – шепнул он Уортону, усаживаясь на табурет и принимая непринужденную позу. – Помните: это ради нее.

Раздался резкий стук в дверь, затем поднялась щеколда и вошел Эдвин Бентам.

– Моей жены не видали? – спросил он после обмена приветствиями.

Оба энергично замотали головой.

– Я заметил, что ее следы ведут от нашей хижины вниз, – продолжил Эдвин осторожно. – Затем они видны на главной тропе и обрываются как раз у поворота к вашему дому.

Они выслушали его объяснения с полным безразличием.

– И я... я подумал, что...

– Что она здесь? – прогремел Уортон.

Священник взглядом заставил его успокоиться.

– Вы видели, что ее следы ведут в эту хижину, сын мой?

Хитрый отец Рубо! Еще час назад, когда шел сюда по той же самой дорожке, он позаботился затоптать следы.

– Я не стал разглядывать... – Кинув подозрительный взгляд на дверь, ведущую в другую комнату, он перевел его на священника.

Тот покачал головой, но Бентам все еще колебался.

Сотворив про себя коротенькую молитву, отец Рубо поднялся с табурета и двинулся к двери.

– Ну, если вы мне не верите...

Священники не лгут. Эдвин Бентам часто слышал эту истину и не сомневался в ее непреложности.

– Что вы, святой отец! – сказал он поспешно. – Просто я не пойму, куда это запропастилась моя жена, и подумал, что, может быть... Ах, верно, она пошла к миссис Стентон во Французское ущелье. Прекрасная погода, не правда ли? Слыхали новость? Мука подешевела: теперь фунт идет за сорок центов, – и, говорят, чечако целым стадом двинулись вниз по реке. Однако мне пора. Прощайте!

Дверь захлопнулась. Они глядели в окно, вслед Эдвину Бентаму, который направился во Французское ущелье продолжать свои розыски.

Через несколько недель, как только спало июньское половодье, два человека сели в лодку, оттолкнулись от берега и набросили канат на плывущую в реке корягу; канат натянулся, и утлое суденышко поплыло вперед как на буксире. Отец Рубо получил предписание покинуть верховье и вернуться к своей смуглой пастве в Минук. Там появились белые люди, и с их приходом индейцы забросили рыбную ловлю и стали усердно поклоняться известному божеству, нашедшему временное пристанище в несметных количествах черных бутылок. Мэйлмют Кид сопровождал священнику, так как у него тоже были кое-какие дела в низовьях.

Только один человек во всей Северной Стране знал Поля Рубо, не миссионера-священника, не «отца Рубо», а Поля Рубо, простого смертного. Этот человек был Мэйлмют Кид. Только перед ним отец Рубо забывал свой священнический сан и представлял во всей своей духовной наготе. Что же в этом удивительного? Эти два человека знали друг друга. Разве они не делились последней рыбешкой, последней щепоткой табаку, последней и сокровеннейшей мыслью – то на пустынных просторах Берингова моря, то в убийственных лабиринтах Великой дельты, то во время поистине ужасающего зимнего перехода от мыса Барроу к Поркьюпайн.

Отец Рубо, попыхивая своей выдавшей виды трубкой, глядел на алый диск солнца, которое угрюмо нависло над северным горизонтом. Мэйлмют Кид завел часы. Была полночь.

– Не стоит унывать, друг! – Кид, очевидно, продолжал ранее начатый разговор. – Уж, верно, Бог простит подобную ложь. Скажу я словами человека, который всегда знает, что сказать:

Если слово она проронила – молчанья храни печать,
И клеймо презренной собаки тому, кто не мог молчать!
Если Герворд беда угрожает, а спасет ее море лжи, –
Лги, покуда язык не отсохнет, а имеющий уши жив.

Отец Рубо вынул трубку изо рта и задумался:

– Он хорошо сказал, ваш поэт, но не это меня сейчас мучает. И ложь и кара за нее в руке Божьей, но... но...

– Но что же? Ваша совесть должна быть чиста.

– Нет, Кид. Сколько я ни думаю об этом, а факт остается фактом. Я все знал и все же заставил ее вернуться.

Звонкая песня зарянки раздалась на лесистом берегу, откуда-то из глубины донесся приглушенный зов куропатки, в затоне с громким плеском вошел в воду лось; два человека в лодке молча курили.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарли достиг недостижимого. Индейцев, которые не хуже его владели бы мудростью тропы, еще можно было встретить, но только один Ситка Чарли постиг мудрость белого человека, его закон, его кодекс походной чести. Все это ему далось, однако, не сразу. Ум индейца не склонен к обобщениям, и нужно, чтобы накопилось много фактов и чтобы факты эти часто повторялись, прежде чем он поймет их во всем их значении. Ситка Чарли с самого детства толкался среди белых, а когда возмужал, решил совсем уйти от своих братьев по крови и навсегда связал свою судьбу с белыми. Но и тут, несмотря на все свое уважение – можно сказать, преклонение перед могуществом белых, над которым без конца размышлял, – он долго еще не мог уяснить себе скрытую сущность этого могущества – закон и честь, и только многолетний опыт помог ему окончательно разобраться в этом. Поняв же закон белых, он, человек другой расы, усвоил его лучше любого белого человека. Так он, индеец, достиг недостижимого.

Все это породило в нем некоторое презрение к собственному народу. Обычно он старался скрывать это презрение, но сейчас оно проявилось в многоязычном каскаде проклятий, обрушившемся на головы Ка-Чукте и Гоухи. Они стояли перед ним точно две собаки, которым трусость мешает напасть, между тем как волчья сущность не позволяет спрятать клыки. Вид у обоих, да и у Ситки Чарли тоже, был такой, что краше в гроб кладут: кожа да кости, на скулах омерзительные струпы от жестоких морозов, местами потрескавшиеся, местами затянувшиеся, в глазах зловещий огонь, порожденный голодом и отчаянием. Когда люди дошли до подобного состояния, им нет дела до закона и чести, а значит, доверять им нельзя. Ситка Чарли это знал, потому-то десять дней назад, когда было решено оставить кое-что из походного снаряжения, заставил их побросать ружья. Теперь во всем отряде оставалось всего лишь два ружья: одно у самого Ситки Чарли, другое у капитана Эппингуэлла.

– А ну-ка разведите костер, живо! – скомандовал Ситка Чарли, доставая драгоценную спичечную коробку и бересту.

Индейцы мрачно принялись собирать сухие сучья и валежник. Они были очень слабы, устраивали частые передышки и, наклоняясь за сучьями, с трудом удерживались на ногах; их колени дрожали и стучались одно о другое как кастаньеты. Каждый раз, доковыляв до костра, они останавливались, чтобы перевести дух, как тяжелобольные или смертельно усталые люди. Взгляд их то тускнел, выражая тупое, терпеливое страдание, то загорался испуганной жадной жизни, которая, казалось, вот-вот прорвется неистовым воплем, лейтмотивом всего сущего: «Я хочу жить! Я, я, я!»

Внезапно поднявшийся с юга ветерок больно щипал лицо и руки, а раскаленные иглы мороза проникали до самых костей, впиваясь в тело сквозь меховую одежду. Поэтому, когда костер разгорелся как следует и снег вокруг начал подтаивать, Ситка Чарли заставил своих товарищей помочь ему в устройстве защитного полога. Это было весьма примитивное сооружение – попросту говоря, обыкновенное одеяло, которое натянули с подветренной стороны костра примерно под углом в сорок пять градусов к земле. Полог этот все же защищал от пронизывающего ветра и отражал тепло, направляя его на сидящих вокруг костра. Затем, чтобы не сидеть прямо на снегу, индейцы набросали еловых ветвей. Выполнив эту работу, они занялись своими ногами. Заледеневшие мокасины сильно истрепались в пути, острый лед речных заторов превратил их в лохмотья. Меховые носки были в таком же состоянии, а когда оттаяли настолько, что их стало можно стащить, обнажились мертвенно-бледные пальцы ног в разных стадиях обмороженности, красноречиво поведав несложную историю похода.

Оставив Ка-Чукте и Гоухи сушить у костра обувь, Ситка Чарли повернул лыжи и пошел обратно по тропе. Он и сам был бы рад посидеть у костра и дать отдых своему измученному телу, но это было бы противно закону и чести. Он шагал по замерзшей равнине, и в каждом

шаге был словно вопль протеста, в каждом мускуле – призыв к бунту. Его нога то и дело ступала на хрупкий лед, только что затянувший промоины, и тогда нужно было не мешкая перепрыгивать на другую льдину. Смерть в таких местах бывает мгновенной и легкой, но Ситка Чарли не желал умирать.

Тревога, которая постепенно нарастала в нем, рассеялась, как только из-за поворота реки показались ковыляющие фигуры двух индейцев. Они с трудом волочили ноги и тяжело дышали, точно несли тяжелую ношу, хотя в их заплечных мешках было всего несколько фунтов клади. Ситка Чарли набросился на индейцев с расспросами, и, видимо, их ответы успокоили его. Он поспешил дальше. Навстречу шли трое белых – двое мужчин вели под руки женщину. Они тоже брели как пьяные, от усталости у них тряслись руки и ноги, однако женщина старалась не слишком опираться на своих спутников и двигаться без их помощи. На лице Ситки Чарли мелькнула радость, когда он увидел ее. Миссис Эппингуэлл вызывала у него чувство глубокой симпатии и уважения. На своем веку он перевидал много белых женщин, но никогда еще ему не доводилось идти с какой-нибудь из них по снежной тропе. Когда капитан Эппингуэлл впервые заговорил с ним об этом рискованном предприятии, предложив принять участие в походе, индеец хмуро покачал головой. Он знал, что прокладывать новый путь через унылые просторы Северной Страны было делом, которое даже от мужчин требовало предельного напряжения сил. Услышав же, что их собирается сопровождать жена капитана, он решительно отказался от какого бы то ни было участия в этом предприятии. Добро бы это была индианка, но женщина из Южной Страны... нет, нет, все они неженки и белоручки, и такой поход им не под силу.

Но Ситка Чарли не знал, с кем имеет дело. Еще пять минут назад он и в мыслях не имел согласиться, но вот подошла она. Ее чудесная улыбка околдовала его, четкая английская речь поразила слух; она поговорила с ним по-деловому, не прибегая ни к просьбам, ни к уговорам, и Ситка Чарли тут же сдался. Если бы он прочел в ее глазах мольбу или вкрадчивость, если бы уловил в голосе малейшую дрожь, если бы почувствовал, что она рассчитывает на свое женское обаяние, Ситка Чарли оказался бы тверже стали, но ее ясный пытливый взгляд, звонкий решительный голос, полнейшая искренность и манера держаться с ним просто, как с равным, вскружили ему голову совершенно. Он почувствовал, что перед ним женщина особой породы, и уже в первые дни пути понял, отчего мужчины, родившиеся от подобных женщин, сделались повелителями морей и суши и отчего мужчины, рожденные женщинами его племени, не могли против них устоять. Неженка и белоручка – это она-то! Изо дня в день наблюдал он ее, усталую, измученную и все же несдающуюся, и повторял в уме эти слова: «Неженка и белоручка». Он смотрел, как с утра до ночи, не зная усталости, мелькают перед ним ее ноги, которым бы ходить по утоптаным дорожкам в солнечных краях, не ведая ни ноющей боли от мокасин, ни ледяных поцелуев мороза; смотрел – и не мог надивиться. Она дарила всех своей приветливой улыбкой, для самого последнего носильщика находила словечко одобрения. Надвигалась полярная ночь, но упорство и решимость этой женщины, казалось, только возрастали с наступающей темнотой. Когда Гоухи и Ка-Чукте, которые хвастали, что знают дорогу как собственный вигвам, признались в конце концов, что сбились с пути, среди проклятий, обрушившихся на них, один голос, голос женщины, поднялся в их защиту. В ту ночь она пела своим спутникам, и от ее песни позабылась усталость и вселилась новая надежда в их сердца. Когда съестные припасы стали подходить к концу и каждый крохотный кусок был на учете, она восстала против ухищрений своего мужа и Ситки Чарли, требуя, чтобы ей выделяли ровно столько же, сколько остальным, – ни больше ни меньше.

Ситка Чарли гордился дружбой с этой женщиной. С ее появлением жизнь его стала богаче, он обрел новые горизонты. Сам себе наставник, он привык идти своим путем, ни на кого не оглядываясь. Он воспитал себя, опираясь на правила, которые сам же и выработал, не прислушиваясь ни к чьим мнениям, кроме собственного. И вот впервые появилась какая-то

сила извне и вызвала к жизни все лучшее, что в нем таилось. Взгляд одобрения этих ясных глаз, слово благодарности, произнесенное этим звонким голосом, неуловимое движение губ, складывающихся в эту изумительную улыбку, – и Ситка Чарли в течение долгих часов пребывал на седьмом небе. Она вдохновляла его, поднимала в собственных глазах; он научился гордиться тем, что так глубоко усвоил мудрость тропы. Они с миссис Эппингуэлл вдвоем поддерживали дух у приунывших товарищей.

Лица всех троих прояснились при виде Ситки Чарли – ведь он был их единственной опорой в пути. Как всегда невозмутимый, привыкший скрывать под железной маской безразличия равно и радость и боль, Ситка Чарли осведомился об остальных членах отряда, сообщил, сколько осталось идти до костра, и продолжил путь. Вскоре ему попался навстречу индеец: шел, прихрамывая, один и без поклажи; губы его были плотно сжаты, в глазах застыла боль – в ногах в последней схватке со смертью еще пульсировала жизнь. Все, что можно было для него сделать, было сделано, но в конечном счете слабый и неудачливый гибнет. Ситка Чарли видел, что дни индейца сочтены: долго он все равно протянуть не мог, – и, бросив на ходу несколько суровых слов утешения, пошел дальше. После этого ему повстречались еще два индейца – те, которым Ситка Чарли поручил вести Джо, четвертого белого человека в их отряде, – но они его бросили. Ситке Чарли было достаточно одного взгляда, чтобы понять по какой-то неуловимой свободе движений, что индейцы вышли из повиновения, и потому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказ вернуться за белым в руках у индейцев сверкнули охотничьи ножи. Какое убогое зрелище – три слабых человеческих существа меряются своими жалкими силенками среди просторов могучей природы! Двое были вынуждены отступить под ударами, которые наносил им третий прикладом ружья. Индейцы, как побитые собаки, поплелись обратно, а через два часа все они – Джо, поддерживаемый с двух сторон индейцами, и Ситка Чарли, замыкавший шествие, – подошли к костру, где остальные члены отряда жались к огню под защитой полога.

Когда были проглочены скудные порции пресных лепешек, Ситка Чарли сказал:

– Несколько слов, друзья мои, прежде чем лечь спать. – Он обратился к индейцам на их родном языке, так как уже сообщил белым содержание своей речи. – Несколько слов, друзья мои, для вашей же пользы: может, они помогут вам сохранить жизнь. Я дам вам закон, и тот, кто нарушит его, будет сам виновен в своей смерти. Мы перешли горы Молчания и сейчас идем по верховьям реки Стюарт. Может быть, нам остался всего лишь один сон в пути, может быть, два-три или даже много снов, но так или иначе мы дойдем до людей с Юкона, у которых много еды. Так вот, мы должны соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукте и Гоухи, которым я приказал прокладывать лыжню, забыли о том, что они мужчины, и убежали как малые дети. Ну что ж, они забыли, забудем и мы на этот раз! Но отныне пусть они не забывают. Если же они снова забудут... – Тут он с нарочитой небрежностью погладил ствол ружья. – Завтра они понесут муку, и поведут белого человека Джо, и будут следить за тем, чтобы он не остался лежать на тропе. Я вымерил, сколько здесь чашек муки, и если к вечеру пропадет хотя бы унция... Понятно? Кое-кто еще забыл сегодня: Оленья Голова и Три Лосося оставили белого человека Джо одного на снегу. Пусть и они не забывают больше. Как только забрезжит день, они отправятся вперед прокладывать лыжню. Вы слышали закон – смотрите же не нарушайте его.

Как ни старался Ситка Чарли, ему не удавалось заставить свой отряд идти след в след. От Оленьей Головы и Трех Лососей, которые шли в авангарде, прокладывая лыжню, до замыкавших шествие Ка-Чукте, Гоухи и Джо он растянулся чуть не на милю. Каждый брел, падал, чтобы перевести дух, и снова вставал. Они подвигались вперед, напрягая остатки сил, то и дело останавливаясь, и всякий раз, когда они думали, что окончательно выдохлись, оказывалось, что каким-то чудом они все-таки могут еще идти, что силы их не совсем еще иссякли.

Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать, и, однако, вставал, и падал снова, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже не шел, а полз: на четвереньках, почти не останавливаясь, – ибо знал цену, которую мороз взъимет с него за передышку. Даже у миссис Эппингуэлл улыбка словно застыла на губах, и она смотрела вперед невидящим взглядом. Она часто останавливалась, прижимала к груди руку в меховой рукавице: не хватало дыхания, и кружилась голова.

Белый человек Джо находился по ту сторону страданий: уже не молил, чтобы его оставили в покое, и не взывал к смерти, а был кроток и ни на что не жаловался, – бред избавил его от страданий. Ка-Чукте и Гоухи тащили его без всяких церемоний, награждая свирепыми взглядами, а иной раз и тумаками. Они считали себя жертвой величайшей несправедливости. Их сердца были полны страха и жгучей ненависти. Этот человек ослаб, так почему они должны тратить на него свои последние силы? Повиноваться означало для них верную смерть; взбунтоваться... Но тут они вспомнили Ситку Чарли, его *закон*, его ружье.

С наступлением сумерек Джо падал все чаще и чаще, и поднимать его становилось с каждым разом все тяжелее; они начали сильно отставать. Индейцы так ослабли под конец, что стали уже валиться в снег вместе с ним. А между тем на спине, за плечами – жизнь, тепло! В мешках с мукой заключалась животворящая сила. Не думать об этом было невозможно, и то, что случилось, должно было неминуемо случиться. Они устроили привал возле большой партии сплавного леса, которую затерло льдами. Дрова – их было несколько тысяч кубических футов, – казалось, только и ждали спички. А совсем близко поблескивала в проруби вода. Ка-Чукте и Гоухи взглянули на дрова, затем на воду, потом посмотрели друг другу в лицо. Они не обменялись ни единым словом. Гоухи разжег костер; Ка-Чукте наполнил жестянку водой и согрел ее на огне. Джо лепетал на непонятном языке о непонятных делах, творившихся в далеком, чуждом им краю. Размешав муку в тепловатой воде, они приготовили себе жидкую кашу и выпили одну за другой несколько чашек. Они не подумали угостить Джо, но Джо не обижался; Джо ни на что больше не обижался. Он даже не обижался на свои мокасины, которые тихо тлели и дымились на угольках от костра.

Вокруг пирующих падал легкий искрящийся снег – мягко, ласково, обволакивая их плотной белой мантией. Много еще троп исходили бы они, если бы волею судеб не прекратился снегопад и небо не очистилось от туч. Каких-нибудь десять минут, и они были бы спасены! Оглянувшись, Ситка Чарли увидел столб дыма от костра, все понял и посмотрел вперед, туда, где шагали самые стойкие, где шла миссис Эппингуэлл.

– Итак, друзья мои, вы опять забыли, что вы мужчины? Хорошо. Очень хорошо. Двумя ртами меньше.

С этими словами Ситка Чарли завязал мешок с остатками муки и пристегнул его к своему вещевому мешку. Затем он принялся изо всех сил толкать несчастного Джо, пока боль не вывела беднягу из блаженного оцепенения и не заставила его с трудом подняться на ноги. Ситка Чарли поставил его на лыжню, слегка подтолкнул, и Джо пошел. Индейцы попытались было улизнуть.

– Стой, Гоухи! И ты, Ка-Чукте! Или мука придала вашим ногам столько сил, что уж и быстрокрылый свинец вас не догонит? Закон не обманешь. Покажите же, что вы мужчины, и радуйтесь, что умираете сытыми. Встаньте рядом, спиной к бревнам!.. Ну!

Индейцы повиновались без слов, без страха, ибо человек страшится будущего, а не настоящего.

– У тебя, Гоухи, есть жена и дети и вигвам из оленьих шкур на земле племени чиппева. Как ты хочешь распорядиться ими?

– Узнай у капитана, что принадлежит мне, и отдай все моей жене – одеяла, бусы, табак и ящик, который издает чудные звуки, похожие на разговор белого человека. Скажи, что я встретил смерть в пути, но не рассказывай, как это случилось.

– А ты, Ка-Чукте? У тебя ведь нет ни жены, ни детей...

– У меня есть сестра, жена агента фактории в Ко-шиме. Он бьет ее, ей плохо с ним. Дай ей все, что принадлежит мне по контракту, и скажи, чтобы возвращалась к своей родне. А если сам он тебе попадетсЯ и ты захочешь оказать мне услугу – знай, что ему следовало бы умереть. Он ее бьет, и она его боится.

– Согласны ли вы принять законную смерть?

– Согласны.

– Прощайте же, дорогие друзья! Да попадут ваши души в теплое жилье, да воссядут они возле полных котлов!

С этими словами он вскинул ружье, и тишина огласилась многократным эхо. Едва умолкли последние раскаты, как в ответ издали послышались ружейные выстрелы. Ситка Чарли вздрогнул. Выстрелов было несколько, а он знал, что во всем отряде только у одного человека, кроме него, имелось ружье. Кинув быстрый взгляд на тех, что неподвижно лежали на снегу, он с горькой усмешкой подумал о мудрости тропы и быстро зашагал навстречу людям с Юкона.

Жена короля

I

В те дни, когда Северная Страна была еще молодой, принятый в ней кодекс личных и гражданских добродетелей отличался простотой и краткостью. Когда бремя домашних забот становилось неспособно, а унылое одиночество у вечернего камелька порождало могучий протест, искатель приключений из Южной Страны шел, за неимением лучшего, в индейский поселок, вносил установленную плату и брал себе в жены одну из дочерей племени. Для той, на кого падал его выбор, это было предвкушением райского блаженства, ибо надо признать, что белые мужья обходились с женами гораздо нежнее и заботливее, чем индейцы. Белый мужчина оставался доволен сделкой, да и индейцам, по правде сказать, было не на что жаловаться. Продав дочь или сестру за несколько хлопчатобумажных одеял и старенькое ружьишко и обменяв теплые меховые шкурки на жиденький ситчик и скверное виски, сын земли бодрым шагом шел навстречу смерти, которая подстерегала его то в виде скоротечной чахотки, то какого-нибудь другого, столь же безошибочно действующего недуга, завезенного в его страну в числе благ высшей цивилизации.

В эту-то эпоху аркадской простоты нравов Кел Галбрейт и странствовал по Северной Стране, но в дороге заболел и был вынужден остановиться где-то в районе Нижней реки. Его появление внесло приятное разнообразие в жизнь добрых сестер из миссии Святого Креста, которые приютили больного и принялись его лечить. Они, конечно, и представить себе не могли, какой огонь пробегал по жилам больного от их ласковых забот, от каждого прикосновения нежных ручек. Станные мысли начали одолевать Кела Галбрейта, настойчивые, неотвязные. Тут-то и попала ему на глаза воспитанница миссии Магдалина, но он и вида не подал, решив выждать до поры до времени. С наступлением весны он немного окреп и, когда солнце стало вновь чертить свой огненный круг на небесах и земля ожила в радостном трепете, собравшись с силами, двинулся в путь.

Воспитанница миссии Магдалина была сирота. Ее белый отец, повстречавшись как-то раз на тропе с медведем, не проявил достаточного проворства, и это стоило ему жизни. Мать ее – индианка, оставшись без мужчины, который пополнял бы ее зимние припасы, пошла на рискованный эксперимент: решила дожидаться нереста лососей, имея всего лишь пятьдесят фунтов муки да фунтов двадцать пять бекона. После этого осиротевшую Чук-Ра отправили на воспитание к добрым сестрам, которые и окрестили ее Магдалиной.

Но все же родня у Магдалины была, и самым близким по крови доводился ей дядюшка – беспутный человек, окончательно подорвавший себе здоровье с помощью напитка белых – виски. Он стремился общаться с богами каждый день своей жизни, иначе говоря – искал кратчайшую тропу к могиле. Когда же ему приходилось быть трезвым, он испытывал муки ада. Что такое совесть, он не знал. К этому-то старому бездельнику и явился Кел Галбрейт. Было сказано много слов, выкурено много табаку. Оба собеседника взяли на себя кое-какие обязательства, и дело кончилось тем, что почтенный язычник, уложив на дно лодки несколько фунтов вяленой лососины, отбыл по направлению к миссии Святого Креста.

Каких он надавал там обещаний, что он им наплел, обо всем этом миру не суждено узнать, ибо сестры никогда не сплетничают. Известно лишь, что, когда он покинул миссию, у него на груди поблескивал медный крест, а в лодке с ним сидела Магдалина. В тот же вечер была сыграна великолепная свадьба, закончившаяся потlachem. После такого праздника индейцы, как водится, два дня не выходили на рыбную ловлю. Но Магдалина на следующее же утро распростилась с Нижней рекой и, сев с мужем в лодку, отправилась на Верхнюю реку в низо-

вях Юкона. Магдалина оказалась хорошей женой, безропотно разделяла с мужем все житейские невзгоды и готовила ему пищу. Она держала его в узде, пока он не научился прикапывать золотой песок и работать засучив рукава. В конце концов он напал на жилу и выстроил себе домик в Серкле. Глядя на его счастливую семейную жизнь, люди испытывали невольную зависть и томление духа.

К этому времени Северная Страна вступила в полосу зрелости и приобщилась к радостям светской жизни. До сих пор Южная Страна посылала сюда своих сыновей; теперь же началось новое паломничество – паломничество дочерей Юга. Хотя дамы эти, строго говоря, не доводились тем белым мужчинам, которые приехали сюда раньше, ни женами, ни сестрами, им все же удалось воздействовать на своих соотечественников и привить им хороший тон – как они его понимали. Жены из индианок больше не появлялись на балах, не кружились в добрых старых виргинских плясках или веселом танце «Дан Таккер». Со свойственным им стоицизмом, без жалоб и упреков, взирали они с порога своих хижин на владычество белых сестер.

Но вот неисчерпаемый Юг прислал из-за гор новое пополнение. На этот раз пришли женщины, которым было суждено править страной. Их слово стало законом, а закон их был крепок как сталь. Они косо смотрели на индейских жен, а белые женщины первого потока вдруг оробели и притихли. Нашлись среди мужчин малодушные, которые устыдились своих давних союзов с дочерьми земли и стали с неудовольствием поглядывать на свое смуглое потомство, но были и другие, настоящие мужчины; те с гордостью хранили верность данному обету. Когда вошло в моду разводиться с индейскими женами, Кел Галбрейт не потерял мужества, зато тотчас ощутил на себе тяжелую десницу женщин, которые пришли в страну позже всех, знали о ней меньше всех и тем не менее в ней властвовали безраздельно.

В один прекрасный день обнаружилось, что верховья Юкона богаты золотом. Собачьи упряжки доставили эту весть к Соленой Воде; суда, везущие золото, переправили соблазнительную новость через Тихий океан; этим открытием гудели телеграфные провода и подводный кабель. И весь мир услышал о реке Клондаик и Юконской территории.

Все эти годы Кел Галбрейт прожил тихо и мирно. Он был хорошим мужем своей Магдалине, и брак их не остался бесплодным, но постепенно им овладело чувство неудовлетворенности. Он стал испытывать неясную тоску по общению с такими же, как он, по жизни, из которой был исключен; в нем стало расти смутное желание, появляющееся подчас у всякого мужчины, вырваться на волю, вкусить радостей бытия. А между тем его ушей достигли фантастические легенды об этом удивительном Эльдorado, заманчивые описания нового городка из палаток и хижин, невероятные рассказы о чечако, которые обрушились на этот край настоящей лавиной. Серкл опустел, жизнь города прекратилась. Мир – обновленный и прекрасный – переместился вверх по течению.

Кела Галбрейта потянуло в гущу событий, он хотел увидеть все собственными глазами, поэтому, как только закончились зимние промысловые работы, положил сотню-другую фунтов золотого песка на большие весы компании и взял чек на получение соответствующей суммы в Доусоне. Затем, поручив наблюдение за прииском Тому Диксону, поцеловав Магдалину на прощание и пообещав ей вернуться, когда появится первый лед, он сел на пароход и отправился вверх по течению.

Магдалина ждала. Она прождала его все три солнечных месяца. Она кормила собак, возилась с маленьким Келом, провожая короткое лето и глядя вслед уходящему солнцу, которое пустилось в свой долгий путь на юг. Кроме того, она много молилась так, как ее учили сестры Святого Креста. Наступила осень, на Юконе появился первый лед, короли Серкла возвращались на зимние работы, а Кела Галбрейта все не было. Должно быть, Том Диксон получил от него письмо, так как рабочие по его распоряжению привезли на нартах запас сухих сосновых дров на зиму. Компания, надо полагать, тоже получила письмо, так как прислала несколько

собачьих упряжек с провизией самого отличного качества, уведомив Магдалину, что она может пользоваться у них неограниченным кредитом.

Виновником всех женских горестей испокон века принято считать мужчину, но тут как раз мужчины помалкивали, позволяя себе лишь время от времени крепкое словцо по адресу отсутствующего собрата, а женщины, вместо того чтобы следовать их примеру, поспешили довести до слуха Магдалины диковинные рассказы о делах и днях Кела Галбрейта, в которых фигурировала некая гречанка-танцовщица. Говорили, что для нее мужчины служили такой же забавой, как для детей мыльные пузыри. Магдалина была индианка и, кроме того, не имела подруги, к которой могла бы пойти за мудрым советом. Целый день она молилась и размышляла, а к вечеру, будучи женщиной решительной и энергичной, запрягла собак, привязала маленького Кела к нартам и двинулась в путь.

Юкон еще не стал, но с каждым днем прибрежный лед все рос, превращая реку в узенький мутный ручеек. Только тот, кому когда-либо доводилось пройти сто миль по ледяной кромке, а потом – еще двести по торосам уже замерзшей реки, в состоянии представить себе, что вынесла эта женщина, каких трудов и мучений стоил ей этот переход. Но Магдалина была индианка. И вот ночной порой в дверь Мэйлмюта Кида постучали. Хозяин открыл дверь, накормил голодных собак, уложил в постель маленького крепыша и занялся женщиной, которая еле держалась на ногах от усталости. Пока она рассказывала ему свои приключения, он стянул с нее обледевшие мокасины и принялся колотить ей ноги острием ножа, чтобы проверить, насколько они обморожены.

В мужественной душе Мэйлмюта Кида было что-то нежное, женственное, благодаря чему самые свирепые собаки испытывали к нему доверие и самые суровые сердца раскрывались перед ним. Не то чтобы он добивался чьих-либо излияний – сердца раскрывались навстречу ему так же естественно, как раскрываются цветы навстречу солнцу. Говорили, что сам отец Рубо, священник, исповедовался ему, а уж простые смертные мужчины и женщины Северной Страны без конца толкались в его дверь – дверь, у которой щекотка никогда не закладывалась. Мэйлмют Кид в глазах Магдалины был человеком, который не мог ошибаться ни в словах, ни в поступках. Она знала его с самого детства, с того дня, когда стала жить среди соотечественников своего отца, и ей, полудикарке, представлялось, что в Мэйлмюте Киде сосредоточена вся мудрость веков, что его взору дано проникать сквозь завесу будущего.

В стране царили ложные идеалы. Нынешняя общественная мораль Доусона не совпадала с прежней, и буйный рост Северной Страны вызвал к жизни много дурного. Все это Мэйлмют Кид понимал, а также знал, что представляет собой Кел Галбрейт. Он знал, что одно необдуманное слово, сказанное впопыхах, подчас может причинить непоправимый вред, и к тому же ему хотелось хорошенько проучить этого человека, как следует пристыдить. На другой день вечером он устроил у себя небольшое совещание, пригласив к себе молодого горного инженера Стэнли Принса и Джека Харрингтона по прозвищу Счастливый Джек с его скрипкой. В ту же ночь Бетглиз, которому Мэйлмют Кид в свое время оказал неоценимую услугу, запряг собак Кела Галбрейта, привязал к нартам Кела Галбрейта-младшего и исчез с ними в темноте, в направлении реки Стюарт.

II

– Итак, раз-два-три, раз-два-три. В другую сторону. Нет, не так! Сначала, Джек! Смотрите, вот так! – Принс исполнил нужное па с изяществом человека, который привык дирижировать котильоном. – И-и раз-два-три, раз-два-три. Обратное! Вот. Это уже лучше. Повторите. Да не смотрите на ноги! Раз-два-три, раз-два-три. Короче шаг! Вы ведь не собак погоняете! Попробуем еще раз. Вот! Хорошо! Раз-два-три, раз-два-три...

Принс и Магдалина кружились в бесконечном вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтоб было просторней танцевать. Мэйлмют Кид сидел на койке, уткнув подбородок в колени, и с интересом смотрел на танцующих. Джек Харрингтон сидел рядом с ним и всю пиликал на своей скрипке, стараясь подлаживаться к танцорам.

Это была смелая, неслыханная затея – то, что задумали эти трое мужчин, желая помочь женщине. Пожалуй, самым трогательным во всем была та серьезность, с какой они занимались своим делом. Магдалину натаскивали со всей строгостью, с какой готовят спортсмена к состязанию или приучают собаку ходить в упряжке. Впрочем, Магдалина представляла собой благодарный материал, так как в отличие от своих соплеменниц ей не приходилось в детстве носить тяжести и прокладывать путь по снежной целине. К тому же она была хорошо сложена, подвижна, и в ней проглядывала какая-то робкая грация. Эту-то скрытую грацию они и пытались выявить и развить.

– Вся беда в том, что она с самого начала научилась танцевать неправильно, – говорил Принс приятелям, усадив свою запыхавшуюся ученицу на стол. – Она быстро схватывает, но было бы лучше, если б она совсем не умела танцевать. Кстати, Кид, я никак не пойму, откуда у нее эта манера? – Принс повторил своеобразное движение плеч и шеи, свойственное Магдалине во время ходьбы.

– Это что! Ее счастье, что она воспитывалась в миссии, – отвечал Мэйлмют Кид. – Это от привычки носить тяжести на спине: от ремешка, который затягивается на голове. У других индианок это еще заметнее. Ей же пришлось таскать тяжести только после того, как она вышла замуж, да и то лишь на первых порах. Впрочем, они с мужем хлебнули горя: они ведь были на Сороковой во время голода.

– Как бы нам избавиться ее от этой привычки?

– Сам не знаю. Разве что попробовать гулять с ней каждый день часа по два и следить за тем, как она держится при ходьбе? Хоть немножко да поможет. Верно, Магдалина?

Молодая женщина молча кивнула в ответ. Раз Мэйлмют Кид, который знает все на свете, так говорит, значит, так оно и есть. Вот и все.

Она подошла к ним, ей не терпелось продолжать прерванные занятия. Харрингтон внимательно разглядывал ее, как осматривают лошадь, по статьям. Должно быть, он остался доволен осмотром, так как спросил с неожиданным воодушевлением:

– Так что же взял за вас этот старый оборванец, ваш дядька, а?

– Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок виски. Ружье сломанное. – Последние слова она произнесла с презрением: видно, ее возмущало, как низко ее оценили.

Она неплохо говорила по-английски, переняв все особенности речи своего мужа, но все же с некоторым акцентом, отличающим индейцев, с их характерным тяготением к причудливым гортанным звукам. Ее учителя занялись и этим, и, кстати сказать, весьма успешно.

В следующий перерыв Принс обратил внимание своих товарищей еще на одно обстоятельство:

– Послушайте, Кид, о чем мы с вами думали? Нельзя же в самом деле учиться танцевать в мокалинах! Обуйте ее в туфельки да выпустите на паркет – тогда она вам покажет!

Магдалина приподняла ногу и стала с удивлением разглядывать свой бесформенный мокасин. В прежние годы она танцевала точно в такой обуви и в Серкле, и на Сороковой миле, и тогда это никого не смущало. Теперь же... ну да Мэйлмют Кид знает, что годится, что нет.

Мэйлмют Кид, конечно, знал, а кроме того, обладал хорошим глазомером. Надев шапку и натянув рукавицы, он отправился с визитом к миссис Эппингуэлл, жене Клоува Эппингуэлла, крупного государственного чиновника. Как-то на губернаторском балу Кид заметил, какая изящная ножка у миссис Эппингуэлл. Кроме того, он знал, что миссис Эппингуэлл не только хороша собой, но и умна, поэтому не постеснялся обратиться к ней за небольшой услугой.

После возвращения Кида Магдалина на минутку удалилась в смежную комнату, а когда вышла, Принс чуть не подскочил от изумления:

– Черт возьми! Кто бы мог подумать! Вот бесенок! Да у моей сестры...

– Ваша сестра – англичанка, – перебил его Мэйлмют Кид, – и нога у нее английская. Между тем род, к которому принадлежит эта девушка, отличается маленькой ногой. Мокасины лишь сделали ее ступню чуть пошире, а так как ей не приходилось в детстве бегать за собачьей упряжкой, нога ее не изуродована.

Но такое объяснение ничуть не умалило восторга Принса. Харрингтон же, человек практичный, глядя на изящную узкую ступню с высоким подъемом, невольно вспоминал гнусный перечень: «Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок виски».

Магдалина была женой короля, у которого сокровищ хватило бы на двадцать красоток, разодетых по последней моде, однако никогда не носила иной обуви, кроме мокасин, сшитых из дубленой лосиной кожи. Она не без трепета посмотрела на свои ноги, обутые в белые атласные туфельки, но тут же прочла восторг, чисто мужское восхищение в глазах своих друзей и лицо ее залилось горделивым румянцем. Ее опьянило это впервые испытанное чувство собственного обаяния, и она пробормотала с еще большим презрением, чем прежде:

– И одно ружье, сломанное.

Тренировки продолжались. Каждый день Мэйлмют Кид совершал с девушкой длительные прогулки, чтобы выправить ее осанку и отучить от широкого, мужского шага. Риск, что ее узнают, был невелик, так как Кел Галбрейт и другие ветераны затерялись в многолюдной толпе новичков, хлынувших в страну. К тому же изнеженные женщины Юга ввели обычай носить парусиновые маски, чтоб уберечь свои щеки от жгучих поцелуев северного мороза. Мать, повстречавшись на тропе с родной дочерью, закутанной в беличью парку, в маске, скрывающей лицо, прошла бы мимо, не узнав ее.

Учение между тем шло быстрыми шагами. Вначале, правда, дело подвигалось туговато, но за последнее время были достигнуты значительные успехи. Перелом наступил в тот вечер, когда Магдалина, примерив белые атласные туфельки, вдруг обрела себя. Чувство собственного достоинства было свойственно ей всегда. Теперь же в ней проснулась гордость дочери белого отца. До сих пор она ощущала себя чужой здесь, женщиной низшей расы, из прихоти купленной своим господином. Муж ей казался богом, которому почему-то вздумалось возвысить ее, недостойную, до своего божественного уровня. Она никогда не забывала – даже после того, как родился маленький Кел, – что не принадлежит к роду своего мужа. Муж ее был бог, женщины его рода – богини, и она не могла даже сравнивать себя с ними.

Говорят, что привычное становится обычным; потому ли, по другой ли какой причине, но в конце концов она раскусила белых искателей приключений и научилась оценивать по достоинству.

Такого понимания она достигла не путем рассуждений – они были чужды ее уму, – но скорее всего вследствие женской проницательности, которой отнюдь не была лишена. От Магдалины не укрылось откровенное восхищение ее друзей в тот вечер, когда она впервые надела белые атласные туфельки, и тогда же ей впервые явилась мысль о том, что сравнение с белой женщиной возможно. Правда, речь шла всего лишь о форме ноги, но невольно напрашивались и другие сравнения. Ореол, который до сих пор окружал ее белых сестер, развеялся, как только она применила к себе ту же мерку, с какой принято подходить к женщинам Юга. Она поняла, что они всего-навсего женщины. Почему же ей не занять такое же положение, какое занимали они? Она увидела, чего ей не хватает, а с сознанием собственных слабостей приходит сила. Она проявила столько упорства, что три ее наставника частенько просиживали до поздней ночи, дивясь вечной загадке женщины.

Приближался День благодарения. Время от времени Беттлз присылал весточку с берегов реки Стюарт, сообщая о здоровье маленького Кела. Скоро можно было ждать их обратно. Не

раз, слышав звуки вальса и ритмический топот ног, какой-нибудь случайный гость заглядывал в жилище Мэйлмюта Кида, но видел лишь Харрингтона, пиликавшего на скрипке, и двух друзей, отбивавших такт ногой или оживленно обсуждавших спорное па. Магдалину же не видел никто: в этих случаях она всегда успевала проскользнуть в смежную комнату.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.